

ДМИТРИЙ ЛИХАНОВ



## ЗВЕЗДА И КРЕСТ

РОМАН

*И, подозвав народ с учениками Своими, сказал: ибо кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её.*

(Мк. 8: 34-35)

*Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдетя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящая во дни, от вещи во тме преходящая, от сряца, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приблизится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.*

(90 Псалом. Хвалебная песнь Давида)

ЛИХАНОВ Дмитрий Альбертович родился в г. Кирове в 1959 году. Окончил факультет журналистики МГУ, стажировался на факультете филологии Гаванского университета (Куба) с одновременной работой в кубинской молодежной газете. Работал в газетах "Советская Россия", "Совершенно секретно", журнале "Огонёк". Автор повести "Прощай, Сирокко!", сборника новелл "Idee Fixe", книги рассказов "Любовь до востребования", повести "Маленькое сердце", романа "Виапса. Жизнь белой суки" (номинарована на премию "Ясная поляна", публиковалась в "Нашем современнике"), сборника журналистских расследований "Жанры жизни". Живёт в Москве.

1. Антиохия. В год консульства императора Деция Траяна II  
и Веттия Грата (250 г. н. э.)

Мальчик слушал птиц.

Ощущал радость ультрамариновых нектарниц, насытившихся пурпурной пыльцой гибискусов, сопереживал горю кремовой кольчатой горлицы, потевшей на прошлой неделе своего птенца, сочувствовал желтоголовому корольку, что так и не нашёл себе пары в этом году, смеялся вместе с выводком юных щеглов, устроивших догонялки в зарослях репейника, и полнил сердце восторгом от несравненных рулад соловья.

Прислонясь спиной к тёплой коже древнего, в несколько обхватов кипариса, который, говорят, помнил ещё времена Селевкидов, мальчик впитывал в себя его вековую силу, что поднималась из каменистых глубин земли вместе с родниковой влагой до самой вершины дерева, до самого нежного, только что проклюнувшегося на свет побега. Кипарис — спутник смерти. Именно так, если верить *Metamorphoses*<sup>1</sup> Овидия, которые мальчик прочитал взахлёб совсем недавно, звали юношу, умолившего богов обратить его в дерево, чтобы вечно печалиться по нечаянно убитому на охоте другу — благородному оленю.

Сюда, в священную рощу возле Дафны, олени приходили в поисках покровительства тех самых богов, студёных родниковых струй, хрусткой травы в тени эвкалиптов да кристаллов каменной соли. Мальчик понимал и их разговор. Седой олень с величавой кроной рогов всё ещё присматривал за своим гаремом, состоящим из четырёх разновозрастных оленух с телятами, всё ещё бился за них в пору гона с пришлыми, но силы уже оставляли его. И это печалило благородного оленя, что никак не хотел смиряться с грядущей немощью.

Понимал мальчик и тихий шёпот змей, что обитали в корнях плакучей ивы возле пруда с розовыми кувшинками. Змеи ожидали потомства, которое выползет из яиц уже через неделю. И охраняли его неусыпно, обвивая кладку петлями чёрного глянца. Понимал он сигналы красных муравьёв, спешащих в своё жилище у подножья земляничного дерева с сухими былинками за спиной, с крошевом кипарисовой хвои, а то и с живой, лишь слегка прикушенной добычей — личинкой мухи, тлём, однодневкой. Слышал прерывистый гул диких пчёл, угнездившихся в дупле разлапистого кедра, и даже трепет лёгкой паутины, что свил на кустах вереска проворный крестовик.

Священная роща в Дафне потому и была священной, что человеческая природа здесь соединялась с природой божественной полностью и без остатка. Но не для всех. А лишь для избранных. Каковым и был этот мальчик.

В столь ранний час священная роща становилась подобна мифическим садам Алкиноя. Напитана божественным свечением. Влажной негой тихих родников, что, казалось, умолкли пред этим царственным великолепием человеческой мысли. Матовой белизной мрамора купален и терм, величиим театра по меньшей мере на пять тысяч мест, возведённого по проекту самого Марка Витрувия, святилищем Зевса с его могучим изваянием из слоновой кости и абиссинского золота, восседающим на мраморном троне, и храмом Аполлона, конечно.

Преисполненный страстью прекрасный бог, как свидетельствовал Овидий, именно в этой роще домогался красавицы Дафны. Но та взмолилась отцу Пенеею, чтоб спасла её девственность от божественной настойчивости Аполлона. И обратил нимфу в лавр. Но это не остановило бога. Его страсть, любовь его отныне обращены были к дереву. Сплёл венок из душистых листьев. Водрузил себе на чело, обозначая им и победу, и страсть к непреклонной нимфе.

Тот старый лавр и поныне трепещет жёсткими листьями возле святилища Аполлона, словно ластится, словно целует.

Храм этот воздвиг Антиох Эпифан, прозванный в народе Безумным. Тот самый Антиох, что прославился тридцатидневным кичливым парадом в Дафне в честь победы над Македонией, в котором участвовали не только киликийцы, но и ещё пять тысяч наёмников из Скифии, Фракии и Мисии, боевые колесницы и даже слоны, а вершили шествие восемьсот юношей в богатых одеждах и с золотыми венцами на челах. Ходили разговоры, что безумец истратил на это пиршество тщеславия все богатства, захваченные во время египетской кампании. И слава богам, что святилище Аполлона было построено раньше.

Даже теперь, по прошествии почти четырёх сотен лет, жемчужина священной рощи всё ещё была свежа своим слегка желтоватым, как лепестки чайной розы, мрамором. С шестью ионическими колоннами на фасаде и тридцатью по бокам — математически грациозна, геометрически безупречна. Восточный фронтон украшает мраморный барельеф, изображающий сцену погони Аполлона за нимфой. Статуя бога возвышается и в *адитоне*<sup>2</sup> позади мраморного жертвенника с пятнами животного жира, копоти и впитавшейся крови. И даже в полумраке фигура божества источает призрачное, тусклое свечение золотого хитона, мраморной холодной бледности, наполняющих сердце входящего в святая святых безотчётным трепетом и страхом.

Но сегодня в святилище будет много людей. Они придут сюда из Дафны, и из самой Антиохии, и даже из прибрежной Селевкии. Придут в праздничных белоснежных и пурпурных тогах, в *трабеях*<sup>3</sup> цвета шафрана. Под звуки тимпанов, кимвалов и труб. С набелёнными лицами, с золочёными лавровыми венками в волосах. Сегодня седьмой день *таргелиона*<sup>4</sup>, когда благодарный народ празднует рождение своего бога. И первый день в жизни мальчика, когда он будет прислуживать в его святилище под водительством антиохийского понтифика Луция Красса. И не просто прислуживать, как он это уже делал несколько раз во время Сатурналий, передавая понтифику жертвенный нож, кропильницу, смешанное с ладаном зерно, но станет настоящим *cultrarius* — служителем, перерезающим горло жертвенному животному. Старик Луций Красс по душевной снисходительности, правда, позволил ему резать не всех животных, которых приведут сегодня к святилищу, но только одного агнца нескольких месяцев от роду, поскольку ребёнку с работой опытного *культрария* не совладать. На прошлых Олимпийских играх в жертву принесли гекатомбу — целую сотню животных, а в Риме после победы во Второй Пунической войне, говорят, и вовсе триста. Даже взрослый мужчина от такой грязной во всех смыслах работы взмокнет или рассудком тронется. А тут — ребёнок...

Мальчик, однако, за свою короткую жизнь уже видел множество жертвоприношений и не вздрагивал от испуганных криков животных, от заливающих мраморные полы потоков тёплой крови, в которых так смешно чавкали сандали и ещё долго оставляли повсюду багряный след. Он знал, как правильно держать лезвие длинного ножа, чтобы полоснуть быстро и вместе с тем плавно, перерезая разом и артерии, и трахею. Знал, но пока не пробовал. И с нетерпением ждал нового откровения.

Воины Четвёртого Скифского легиона в сверкающих на солнце доспехах и галльских имперских шлемах, со штандартами вспомогательных войск и драконами кавалерии в руках первыми вступили под тенистые покровы священной рощи. Вслед за ними в золотистых клубках дорожной пыли шли музыканты из племса, оглашая божественную тишину визгом высоких латунных труб, грохотом тимпанов из козлиной кожи и пронзительным звоном бронзовых кимвалов. За ними торжественно-неспешно катилась колесница понтифика, управляемая бывшим возницей команды “красных” из Иудеи и запряжённая четвёркой кашпадокийских скакунов. Сам Луций Красс стоял подле возницы в пурпурной трабее, с ликом Аполлона на золотой застёжке, приколотой у правого предплечья. На безымянном пальце понтифика лучился массивный золотой перстень с голубым сапфиром — подарок императора Деция, а коню седых волос венчал острроверхий жреческий апекс. За колесницей семенили служки разных возрастов. Предназначением одних, как и самого мальчика прежде, было подавать понтифику сакральные

предметы; других, могучих *виктимариев*, — с одного удара оглушать животных кувалдами на длинных рукоятях; третьи собирали кровь да извлекали ребуху, четвёртые кромсали и подносили мясо понтифику для обряда всеожжения. Мальчик сейчас мог бы семенить вместе с ними, как это и положено по уставу, однако ещё со вчерашнего вечера понтифик позволил ему прибежать в священную рощу пораньше, чтобы испросить у божества помощи для предстоящего ритуала.

И вот теперь он наблюдал за торжественной процессией издалека, пока не заметил среди прочих маму с отцом, пробиравшихся к храму сквозь гомонливую толпу горожан. И, как всякий ребёнок, поспешил им навстречу. Мать первой услышала его оклик. А затем и отец повернулся навстречу сыну. Они не видели его всего несколько часов, с минувшего вечера, когда он один ушёл в священную рощу для богообщения, однако, равно любимым родителям, волновались за него — такого, как им казалось, робкого, слабого и незащитного отрока. За единственное, долгожданное своё чадо.

Сын появился на свет в легендарном Карфагене, когда они уже и не чаяли счастья родительства. Появился благодаря неустанным молитвам, жертвоприношениям и непрерывным слезам, что проливали оба о своём бесплодии, а значит, неминуемом позоре, осуждающем шёпоте соседей и одинокой старости. Причиной этого горя они считали грехи собственных родителей, исповедовавших ханаанскую веру, грехи поклонения Ваалу и Астарте и, даже страшно вспоминать, “жертвоприношений на основаниях”, когда в фундамент нового дома замуровывалось тело младенца. Родительский дом и по сей день стоит на отшибе, напоминая потомкам о той непомерной цене, которую им приходится платить в нынешней жизни за святотатство поколений минувших. Может, потому они и исповедовали новую, пришедшую с севера веру, исполненную не брюхатыми, рогатыми, зловонными идолами Ханаана, но прекрасным сонмом олимпийских божеств, чарующих человеческим совершенством духа и плоти, возведённым в Абсолют. Не капища поганые возводили в почитание этим богам, но величественные мраморные храмы, наполнявшие сердце и душу человека спокойствием и благолепием.

Сколько часов провели они в молитвах и поклонах *Sospita Juno* — небесной заступнице Карфагена, вспомоществующей матерям и бесплодным родителям, — не счастье! Благо храм в честь Юноны Спасительницы с её великолепным мраморным изваянием, с непременноми спутниками богини, того же мрамора павлином и кукушкой, возвышался неподалёку от их нового жилища.

Печальные молитвы, в которых становилось всё меньше надежды, Юнона услышала только через семь долгих лет. И даровала им нечаянное бремя. Даровала сына, который появился на свет в месяц её почитаемой памяти — июне. На улицах парило зноем Сахары. Обтирая личико младенца от кровавой слизи ромашковой водой, повитуха с удивлением заметила, что тот улыбается ей, словно родной. И засмеялась в ответ от нахлынувшего счастья. С тех пор мальчик не переставал улыбаться. И не переставал удивлять. Все десять лет. Теперь уже в третьем по значимости городе Римской империи Антиохии, куда перевели по службе отца вскоре после рождения чада...

Родители обняли его по очереди, и отец даже хотел поднять на руки, однако отрок, смущённо улыбаясь, что-то шепнул ему на ухо, отчего мужчина тотчас отступился и смиренно двинулся следом к храму.

На отроке была туника яблоневого цвета, сотканная и скроенная матерью из шерсти тонкорунной овцы, настолько короткая, что едва прикрывала колени мальчика, содранные до кровавых ссадин ночным молением. Крупная взрослая застёжка из бронзы с радужным обсидианом, в глубине которого, если присмотреться, можно было заметить застывший зрачок, крепила к тунике у плеча короткую тогу, как носили её по тогдашней моде легионеры. Только эта была не из шерсти, а из невесомого китайского шёлка. Ступни и лодыжки отрока защищали плотные *кальцеи*<sup>5</sup> из верблюжьей кожи. А вьющиеся крупными локонами, цвета выгоревшей на солнце соломы волосы украшал позолоченный лавровый венок, который вместе со свежим, ещё не порочным лицом отрока, с крыжовенными его глазами, прозрачной кожей

на шею, сквозь которую можно было заметить пульс голубых артерий, являл собой совершенный образ юного божества.

Вместе подошли к храму. Понтифик уже стоял перед его входом, воздев руки в рыжей шерсти с тяжёлыми золотыми браслетами на запястьях к небу, испрашивая дозволения бога нарушить его величественный покой. По обе стороны от Луция Красса уже выстраивались жрецы-иеропей<sup>6</sup>, виктимарии, повара, глашатай-прекон. Где-то в роще позади храма возбуждённо мычали приготовленные к закланию быки, блеяли козы и овцы, пахло свежим навозом и ладаном. Не обращая уже никакого внимания ни на родителей, ни на окружающую его плотно толпу, отрок принялся пробираться к ступеням храма, чтобы вместе с другими культуриями занять место по правую сторону от Луция Красса. И каждый заметил его, поскольку это был единственный ребёнок в окружении понтифика. И всяк запомнил.

Солнце утра полнило прохладу священной рощи теплом, замешенным на ароматах кедровой смолы, вереска, мускатных гибискусов. Сонмы солнечных зайчиков, отражённых сталью солдатских доспехов, теперь притихли, лишь вздрагивая робко; гомон возбуждённой от долгого перехода толпы постепенно смолкал, превращался в шёпот, покуда, наконец, не сделался тишиной, нарушаемой печальными вздохами жертвенных животных и чистой трелью диких птиц. Прошла минута. Затем другая.

— *Audire omnibus!* — прогудел трубно, густо и протяжно глас глашатая. — *Ut Unguis taverent!*<sup>7</sup>

— *Сниди, о Феб Ликорейский,* — принялся читать орфический гимн божеству понтифик, — *Пеан, победитель Пифона, Мемфисец, благоподатель, под клики “Иэ!” восхваленный, с лирой златою, Титан, полевой и семянный, дельфийский, Пифий, Гриней и Сминфей, низринувший Тития, вещей, яростный, дух светоносный, прекрасный и доблестный отрок; радости вождь, Мусагет, дальновержец о луке и стрелах, о, Дидимеец и Бранхий, о, дальноразящий, пречистый; Локсий и делосский царь, озаряющий смертных зеницей, о, златовласый, яснейших речей и пророчеств явитель; с милостью в сердце да примешь молитву мою за народы.*

Этот гимн, довольно напыщенный и велеречивый, понтифик читал неспешно, чеканя каждое слово, воздевая к божеству руки, на запястьях которых вспыхивали солнечными отблесками браслеты. Вскоре пурпур его *трабеи* в подмышках расплылся тёмным пятном пота, а жабы старческие веки увлажнились слезами. Последние строфы гимна он читал с отчаянием каменщика, перетаскивающего гранитные плиты. Земная жизнь понтифика завершится уже в конце грядущего месяца от апоплексического удара на мраморной террасе его антиохийской резиденции, в два часа пополудни, после того как служанка принесёт к его ложу порезанную на дольки солнечную айву и горсть фундука. Кусочек терпкой айвы — вот последнее, что увидит понтифик перед сошествием в царство Аида. И хотя произойдёт это только через месяц, айву и рассыпавшиеся по мрамору орехи, побагровевшее лицо понтифика мысленным своим взором отрок видел сейчас, в эти самые мгновения. Но побоялся сказать. Побоялся, что ему никто не поверит.

Между тем служки с корзинами, полными жертвенного зерна, с кропилами, ножами и пышущими жаром факелами принялись обходить вокруг алтаря, в то время как другие заводили в храм годовалого бычка. Его уже осмотрел внимательно приближённый иеропей и, не найдя никаких изъянов, начертал углем на рыжей шкуре свой знак — трезубец. Животное входило в храм хотя и нерешительно, но послушно и без всякого страха, звонко цокая чистыми копытцами по полированному мрамору, не упираясь и не натягивая верёвку. Даже когда служки вывели его пред толпой с факелами, бычок не прянул назад, а, послушно преклонив голову пред воздетой над ним дланью в золотых браслетах, покорно приблизился к понтифику. Пальцы коснулись мягкой, детской ещё шёрстки — рыжей с белесыми подпалинами, оставившая его на расстоянии вытянутой руки. И вслед за этим на голову, на шею, на спину животного с шелестом тихим просыпались зерна ячменя, смешанные с крупной морской солью, означавшие скорую встречу со смертью. На мраморном алтаре уже шумно, с треском разгорался огонь, в который

специально обученный служка то и дело в определённой последовательности да с молитвой подкладывал сухие ветки кипариса, сосновые и кедровые поленья и свежую эвкалиптовую листву для ароматного дыма. От жертвенного огня зажглись новые факелы, а один из них понтифик опустил в бронзовую кропильницу с барельефом Аполлона и нимфы. Этой водой несколько минут щедро, чтобы досталось каждому хотя бы по капле освящённой влаги, кропляет всех присутствующих и, в первую очередь, само животное, которое, казалось, замерло перед ним в каком-то сакральном трепете. Жертвенным ножом с тяжёлой серебряной рукоятью понтифик срезал клочок шерсти с головы бычка. И бросил его на алтарь. Шерсть вспыхнула. Теперь тупой стороной ножа словно прочертил длинную линию от лба до хвоста, отчего по рыжей шкуре пробежала дрожь.

— *Macta est*, — молвил понтифик, оборотаясь лицом к востоку.

— *Agone?* — вопрошал могучий виктимарий из абиссинцев, с курчавой головой и в чёрном плаще из тонкой кожи, который заменял ему фартук. И медленно поднял над головой бронзовую кувалду.

— *Hoc age!*<sup>8</sup> — отвечал понтифик, опуская глаза долу.

В следующее мгновение кувалда с треском ломаемых костей черепа обрушилась на голову телёнка. Глаза его вмиг закатились. Покрылись пеленой. Он рухнул как подкошенный сперва на колени и тут же тяжело — на бок. Но тело его ещё не умерло. Пока дышало, дыбилось боками, мелко вздрагивало кожей, испускало на мраморный пол жёлтую лужу мочи. Но виктимарий, ухватившись короткими пальцами за телячьи рожки, уже запрокидывал его голову, подставляя её поспешно под последний удар, который сегодня в честь праздника свершит сам понтифик.

И тот ударил. Молниеносным рывком жертвенного ножа рассёк кожу, мышцы шеи, артерии и трахею, высвобождая тугой поток тёплой крови, протяжный хрип из лёгких. Кровь заливала девственную чистоту мрамора густой вишнёвой влагой, затекая в стыки между плитами, омывая сандалии и жёлтые ступни понтифика, и хлопаяющие сандалии служек, спешащих поднести под струи крови чаши из обожжённой глины. Вслед за ними уже поспедали вооружённые ножами культрарии, способные за считанные минуты освежевать жертву до сахарных костей и жёлтых мосталыг, оставляя нетронутой только голову с прикушенным синим языком между зубами и удивлённым взглядом остеклевших глаз из-под рыжих ресниц.

Следом за телёнком привели матёрого борова, затем с десяток овец, полную клетку голубей да ещё титанического склада быка, которого убивали особенно долго и мучительно. Над алтарём уже почти два часа клубилось дымом алое пламя, вскормленное плотью, внутренностями и жиром жертвенных тварей. Служки время от времени умирляли его кровью из глиняных чаш, кислым виноградным вином. И сразу же вновь воспаляли силу огня оливковым маслом, шматками нутряного жира новых жертв. Этим жиром и копотью вкоре покрывались лица всех, кто стоял и прислуживал нынче в храме Аполлона. И сам его божественный лик.

Агнца привели последним. Белой нежностью подобный ангелу, он переступал звонкими копытцами по мраморному полу, устланному сгустками сукровицы, пятнами растекшейся желчи, ошмётками шерсти, сизыми пузырями кишок. Переступал опасно, стараясь не касаться мертвой плоти. Тихонько блял, в страхе разглядывая служек в окровавленных туниках, мерцающую сталь клинков, кувалды виктимариев, сурового понтифика с сальной копотью на величественном лице, мерный отблеск жертвенного огня. В его робком голосе отрок услышал горечь разлуки с матерью, которую агнец не видел уже несколько дней. Растерянность и ребячий страх перед не известными ему людьми, перед этим тошнотворным запахом горелой плоти, блеском стали. И только сам улыбающийся отрок в чреде этих страшных видений показался ему чище остальных и, быть может, даже добрее. Потому и двинулся к нему, всё так же робко переступая копытцами, вдыхая горький воздух скотобойни дрожащим розовым носом.

— Хороший знак, Киприан! — промолвил негромко понтифик, протягивая отроку свой тяжёлый нож с серебряной рукояткой.

Тот принял его, ощущая всем телом тяжесть отнятых жизней. И, в точности повторяя движения Луция, возложил руку на голову агнца, украшенную венцом позолоченным. Мелкая завитушка шерсти на его макушке и в самом деле походила на детский локон — мягкий, шелковый. И отрок отсек его без малейшего усилия — и без дозволения старика-понтифика, который должен был исполнить обряд сам. Но отчего-то не сделал. Смотрел на мальчика задумчиво, вглядываясь, быть может, в будущее его, в ту непроглядную тьму, сквозь которую может проникнуть лишь взгляд провидца или пророка. И если бы Луций Красе был пророком, он содрогнулся бы от неопишуемого ужаса, коим предстояла стать грядущая жизнь юного Киприана.

Но теперь мальчик улыбался, одною ладонью нежно поглаживая курчавый лоб агнца, а другою медленно приближая к его шее жертвенный нож. И когда он, наконец, обхватил животное за шею, чтобы оно не металось, и когда полоснул его, неожиданно сильно, по тонкому горлышку, и когда смотрел в его затухающие глаза, впитывая в себя его страх, трепет его, словно взглядом пытаясь встретиться с бездонным взглядом смерти, даже тогда улыбка не сходила с уст мальчика. И от улыбки этой кто-то вскрикнул в толпе. Кто-то лишился чувств. И даже могучего абиссинца в кожаном чёрном фартуке, к которому прилип клочок рыжей шерсти, пробил вдруг лихорадочный озноб.

Мальчик сам собрал в чаши тёплую кровь агнца, сам разделал его, аккуратно сложив в разные чаны кости, голову, мясо и внутренности. Подошёл к алтарю и, подобно самому понтифику, возложил на огонь самый тучный и лучший кусок.

Эта жертва сулила ему восшествие на Олимп.

### **Кондак 1**

Избранный от диавольскаго служения на служение истинному Богу и к лику святых сопричтенный, священномучениче Киприане, моли Христа Бога избавитися нам от сетей лукаваго и побеждати мир, плоть и диавола, да зовем ти:

Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

### **Икос 1**

Ангельския силы удивихася, како от художества волшебнаго обратился еси, богомудрие, к познанию Божественному, покаянием обрел еси ангельское безстрастное житие. Мы же, обращению твоему дивящися, вопием ти таковая:

Радуйся, обращением твоим ангелов удививый;

Радуйся, лик святых возвеселивый.

Радуйся, мудрость свою показавый:

Радуйся, за Христа венец приявый.

Радуйся, яко тобою бесы отгоняются;

Радуйся, яко тобою болезни исцеляются.

Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## **2. Панджшер. 20 мая 1982 года**

Полковник не знал, что погибнет сегодня.

Всю минувшую ночь он провёл на командном пункте оперативной группы 40-й армии и только под утро, измочаленный до звона в ушах, до свинцовой поступи, вернулся в свой модуль, чтобы отключиться рассудком и телом всего-то на пару часов bestолкового, рыхлого сна.

Почти месяц армия пребывала в состоянии победной горячки.

Ещё в апреле, перемалывая винтами прозрачную лазурь, над суровым Панджшерским ущельем принялись барражировать монотонно и нудно командированные из Черновцов “настенки” отдельной дальнеразведывательной

эскадрильи. Помимо новейшего навигационного оборудования вроде доплеровского измерителя угла сноса и путевой скорости, на брюхе Ан-30 имелось пять застеклённых люков, оснащённых невиданными в здешних местах, а на родине и вовсе засекреченными комплексами автоматической и полуавтоматической аэрофотосъёмки, широкоугольными и длиннофокусными объективами, позволяющими с высоты в восемь километров заметить и запечатлеть на плёнку тайные бандитские тропы, глинобитные хибарки, что обустраивались под огневые точки, неприступные логова в скалах. Запредельная высота полёта “настенек” делала их труд безопасным, а кондиционированный воздух в кабине, хоть и узенькая, но кухонька и даже собственный сортир — интеллигентным и в высшей степени комфортным.

Вслед за разведкой взялась за работу армейская артиллерия — бог войны.

Чуть не целый день изрыгающая столбы пороховой сажи, всполохи огневые нескончаемого, то совсем близкого, то дальнего грозового раската, завывающих истерично, по-бабьи, систем залпового огня, рваных выхлопов миномётных фугасов, грохота сатанинского из десятков и даже сотен стволов разнообразного калибра с нежными, совсем не свойственными войне ботаническими названиями: “тюльпан”, “акация”, “гиацинт”. Дыбили фонтанами до небес сухую землю, крошили в мелкий щебень скальный гранит, испепеляли тротилую, воистину адским огнём всё, что дышало, двигалось или даже просто пыталось уродиться на нищей этой земле. Боеприпаса было вдоволь. И его не жалели.

В небе, всё ещё отчаянно лазоревом, райски чистом, проносились хищными стайками пятнистые эскадрильи “сушек”, несущих на узлах своих подвесок по три тонны убойного бремени. Отбомбившись по целям, они возвращались на авиабазу Баграм за новой порцией фугасов. И вновь взлетали в лазурь. Терзать неповинную землю. Вслед за ними уже катились по рулёжным дорожкам и тяжело, с осадкой и креном от избыточного боеприпаса поднимались в небо “восьмёрки” и “крокодилы” легендарного “полтинника” — 50-го смешанного отдельного авиационного полка, которым ещё только предстояло влиться всей своей тротиловой мощью в геенну огненную тактической этой артподготовки.

Тщательно скрывая свои намерения не то чтобы от союзников по оружию, но даже от собственных офицеров, путая моджахедов и, прежде всего, их опытного вождя Ахмад Шаха Масуда массированными артиллерийскими и авиационными ударами у створа в долину реки Горбанд, запуская в эфир заведомо ложные целеуказания, советские военачальники во главе с начштаба армии Норатом Тер-Григорянцем делали вид, что готовят удар в противоположном от ущелья, западном направлении с выходом на Бамиан. Нехитрая эта тактика за несколько дней высосала моджахедов из ущелья на подмогу братьям-мусульманам в долине Горбанда, ослабила сопротивление предстоящему, до самого последнего дня скрываемому направлению удара, открывая доступ в Панджшер нашим десантникам и мотострелкам.

В ночь на 16 мая одиннадцать разведрот практически без боя овладели господствующими высотами у входа в ущелье Панджшер. Следующей ночью третий батальон 177-го мотострелкового полка нахрапом вторгся в скалистое его чрево и с разбега одолел почти десять километров пути. Закрепился, как мог, на отвесных уступах, забился в расщелины, пулемётными точками очерился, контролируя и сберегая тем самым от внезапных вражеских набегов единственную дорогу, глубинную артерию, по которой, тяжело и жарко пульсируя, уже давила свежая кровь. Ещё два батальона в просоленных не по одному разу “песочках”, натужно выхаркивая из себя поднятую сотнями ног пыль, сотнями сердец качая густеющую на высокогорье кровушку, склоняясь всё ниже под бременем солдатского сидора и безотчётного человеческого страха, продвигались по флангам дороги, прикрывая технику и людей на острие главного удара. А там уже со всей дури в клубах дизельной гари пылил всеми своими траками и колесами отряд обеспечения движения дивизии с усиленной мотострелковой ротой во главе. Тягачам, тральщикам, грейдерам инженерных войск предстояло расчищать завалы, подрывать хитро замаскированные фугасы и мины, одним словом, проложить безопасный путь



для отряда обеспечения армии и тянущихся за ним следом бесконечных колонн систем залпового огня, артиллерии, бронетехники и грузовиков.

Теперь с рассвета и до заката над ущельем без усталы рублили лопастями небо, проносясь восточным курсом и возвращаясь вновь, десятки транспортных вертолётот конструкции Миля, перевозивших людей на окраины глинобитных кишлаков, засечённые авиаразведкой безмянные высотки и площадки, на многие из которых даже толком и не приземлиться, а лишь коснуться одним шасси, покуда выпрыгивают с борта, матерясь и ошалело покрикивая, бесстрашные с виду воины 103-й воздушно-десантной дивизии.

Полковник отвечал за этот десант, именуемый в штабе воздушно-тактическим, собственной головой и погонями. За техническое состояние бортов, их безопасность, вооружение, связь, боевое прикрытие, но пуще того — за поставленную ему задачу: перебросить на сто километров в самое нутро вражеского во всех смыслах ущелья четыре тысячи двести человеческих душ.

Все эти дни в штабе погано воняло жжённым болгарским табаком, замешанным на кислоте мужского пота и сапожной ваксы. Непрестанно взрывались отчаянными призывами аппараты закрытой и открытой телефонной связи, булькали “засы”<sup>9</sup>, отстукивал бесконечные ленты приказаний телеграф. Полтора десятка офицеров из подчинённых полковнику эскадрилий, авиационных и вертолётных полков, батальонов связи и технического обеспечения, расквартированных на авиабазе Баграм и приданных 34-му авиационному корпусу 40-й армии, спали теперь урывками между докладами и совещаниями, в возбуждающей толчее, шарканье берцев, надсаженном никотиновом кашле, в лае и матюгах. Кто знает, может, именно ради этого часа начштаба армии и Господь Бог собрали вместе всех этих мальчиков и мужчин в предгорьях Гиндукуша, чтобы вновь, как и пятьсот, как и тысячу лет назад они прошли по этим скалам и ущельям вслед за войсками Александра Великого, Чингисхана, Тимура и Бабура. Вновь окропили их своей кровушкой. И вновь восхитились неприступности сердец обитателей этих скал.

Пришедшие сюда с диких побережий северных ледяных морей, из клюквенных болот тундры, из выжженных солнцем и стужей степей, из величественных городов и бедных селений, сами пережившие множество чужеплеменных вторжений, отметивших несмываемыми генетическими метками всякую семью, каждого жителя, теперь уже они вторглись на чужую землю с обманчивой мечтой о справедливости, а по сути — с извечным умыслом любого завоевателя — владеть.

Полковник часто вспоминал долгие разговоры с обладателем смуглого лица, горячего взгляда и горячих выражений дядей Сашей Нестеровым — штатным МИДовцем ОССВ<sup>10</sup>, потомственным ориенталистом, в совершенстве владеющим пушту, дари и фарси, знающим Афганистан, что называется, до исподнего, а оттого, видать, заслужившим доверие династии Баракзай. Они познакомились в Ташкенте в ожидании борта на Кабул, впоследствии часто встречались на совещаниях в штабе сороковой армии, да и в беседах задушевных хмельных раскрывались друг дружке без оглядки. “Умолял я командарма договориться с Масудом, не лезть в Панджшер, — сетовал дядя Саша полковнику на командующего 40-й армией Ткача, — бесполезно! Он ведь даже не хочет вникнуть, что сама структура ущелья со многими расщелинами — идеальная крепость. Её не взять!” И вслед за этим доходчиво объяснял причины будущих поражений. Авиация в горах не столь эффективна, как на равнине. С гор удобнее наблюдать за противником. В горах удобнее обороняться. Удобнее создавать укрытия. К тому же высота Гиндукуша увеличивается волнами по мере удаления от Чарикарской долины. А это идеальные условия для ведения партизанской войны по принципу “атака и отступление”. “Мясники вы, а не вояки, — резюмировал дядя Саша после первой пол-литры, обнимая полковника за плечо, — столько пацанов положите ни за что”. Полковник что-то бухтел в ответ про огневую мощь, боеспособность войск и силу духа личного состава, однако где-то в глубине души чувствовал правоту этого седого и мудрого “спеца”. Чувствовал, что при всей нашей мощи, силе духа и боеспособности накостыляют нам моджахеды от души. До кровавой блевоты накостыляют.

И этот день настал.

Зачинался он сторожким дуновением ветерка через форточку, в котором чудилась и морозная сухость снежных вершин, и липкая горечь пирамидальных тополей, замешанная на хлорке сладость цветущего тамариска да монотонный, словно зов муэдзина, гул “антошки”, прогревающего движки на дальней рулевой дорожке. Он и пробудил полковника от дремы. Поднялся с кровати — и в ванную.

Сперва драил зубы порошком со вкусом мяты фабрики “Свобода”. Из-за гнилого клыка справа и забористых кубинских сигарет без фильтра изо рта полковника воняло. Только вони этой, когда вокруг столько всяческой мерзости и дряни, никто, кроме самого полковника, не замечал.

В ванной уже неделю вздрагивала и жужжала лампа дневного света, отчего отражение полковника в зеркале то исчезало, то появлялось вновь. Это было отражение усталого сорокалетнего человека в синей армейской майке, с тяжёлыми, отёкшими веками, из-под которых сквозил какой-то на удивление ясный, даже искрящийся взгляд, что никак не вязался ни с глубокими залысинами на лбу, ни с седой порошей на висках и щетине, бороздами в уголках рта, сухой, шелушащейся на скулах кожей и вторым подбородком. Если бы не предательство зеркала, он бы и сейчас чувствовал себя на двадцать.

“Надо заменить дроссель”, — подумал полковник, покрывая пеной подбородок, а после обхаживая его станком, будто стараясь сбрить первые признаки старости.

После бритья, после колючей прохлады изумрудного “Шипра” на коже да нескольких проходов мелкой расчёской по волосам лицо и вправду свежело. Становилось на пару лет моложе.

Из комнаты доносился записанный на кассету японского магнитофона голос Пугачёвой — голос его дома в Шадринске, голос Союза, голос Родины, о которой гредишь каждый час, каждую минуту на этой чужой земле.

Возле магнитофона — семейная фотография в китайской бамбуковой рамке. Жена с сыном зашли в ателье в день окончания им авиационного училища. Сын в новехоньком офицерском мундире. Снежная рубашка, фуражка, “крылышки”, “ромбик”. Жена в шелковом платье с журавлями, которое он привёз ей из первой командировки. Смотрят на него в счастливом оцепенении.

И он глядит на них всегда с улыбкой и трепетом сердечным, поскольку после смерти родителей и гибели единоутробного брата никого родней у полковника не осталось. Раз в неделю он звонит им в Шадринск из штаба по открытой связи, чтобы услышать в трубке натренированный голос офицерской жены, не допускающей даже минутной слабости, и отчаянные восклицания сына, рвущегося на войну. Раз в месяц полковник собирал им нехитрые гостинцы: пакистанские джинсы сыну, индийские ткани жене, вяленый кишмиш, курагу, инжир и несколько коробок чудесного дарджилинга. К посылке прилагалось обязательное письмо, над которым полковник корпел не меньше, чем над оперативными картами, придумывая такие слова и фразы, за которыми не различить его повседневной жизни, но только радость диковинных пейзажей, добросердечность местных народов да благородство возложенной на него миссии в построении социализма на афганской земле. Ложь во спасение была излюбленным эпистолярным приёмом полковника.

Пока он перекусывал спешно, у ног тёрлась полковничья любимица Муля — пегая пучеглазая кошечка, обладательница обрубленного хвоста и перебитой лапки. Прежняя жизнь Мули полковнику была не известна, однако, судя по увечьям, ей тоже досталось на этой войне. От равнодушных ли хозяев, злых детей, а может, и от боевых действий. Кошечка появилась в жизни полковника с полгода тому назад, когда он только обустроивался в Баграме. Появилась невесть откуда, пробравшись через все КПП, “колючку”, минные поля и злыхных овчарок батальона охраны прямиком к командирскому модулю, на самый его порог. “На удивление сообразительное создание! — восхищался ею принародно полковник. — Ведь не в казарму пошла и даже не в медсанбат. Прямоком к начальству!” Муля, действительно,

оказалась кошкой феноменальной. Она понимала пушту, фарси и дари, а совсем скоро — русский и украинский. Полковник, впрочем, утверждал, что животное не может изучить такое количество языков за столь короткое время, а значит, понимает вовсе не язык, а интонации, движение сердца, которые совершенно одинаковы для всех людей на земле. Помимо лингвистических способностей, кошке было свойственно умение врачевать приступы жестокого артроза тазобедренного сустава, и без того ущедрного после неудачного прыжка с парашюта ещё в авиационном училище, а с годами только усугубляемого жёсткими посадками, кабинетным образом жизни, лишним весом. И когда боль в правом бедре прошибала от малейшего движения с силой отбойного молотка, Муля ложилась на бедро мягкой грелкой, забирала в себя его боль.

А ещё она предчувствовала беду.

Первый раз она проявила этот дар буквально через неделю после того, как получила прописку в командирском модуле. Сначала Муля залезла в открытый шкаф с одеждой, оттуда перебралась под кровать, а затем и вовсе запрыгнула хозяину на колени, а оттуда — под мышку. Через час, тяжело заваливаясь обоими бортами, отхаркиваясь клубами горелого бензина, на базу села изрешечённая в душлаг “двадцатьчетверка”, попавшая под обстрел станкового крупнокалиберного пулемёта. Ребята довели машину до дома. Но бортмеханик через два дня скончался от ран.

В другой раз кошка своим беспокойным поведением предсказала эпидемию “брюшняка”, который в течение недели наполнил инфекционный госпиталь сотнями бойцов и, что хуже всего, опытных лётчиков, воздушных асов, превратившихся в жёлтых доходяг с раздувшимися животами и отёчными физиономиями.

Вот и теперь Муля ерзала у ног полковника, предвещая скорую его гибель. Но тот не знал её языка. Не различал её знаков и движения сердца не понимал. Ну, а если бы и понимал, разве б это его остановило? Кто поверит драной афганской кошке с драматическим прошлым?

“С Богом!” — громко рапортовал полковник, последний раз в этой жизни глядя на собственное отражение в зеркале. Но отражение не ответило. Как и полковник, оно не верило в Бога. Хотя до встречи с ним оставалось чуть меньше восьми часов.

Сквозь распахнутую дверь лицо полковника омыло прохладой утра, гуто замешанной на персиковом свечении восходящего солнца, мерном гуле силовых установок, прогревающих двигатели перед взлётом и перемальвающих персиковый воздух в клубящийся раскалённый кисель, на грохоте “наливников”, осторожно подруливающих к бортам, на ворковании парочки влюблённых горлиц, устроившихся под шиферной крышей библиотеки. Последнее утро пахло цветами багряника, усыпавшими стволы деревьев розовой пенной, пахло хлоркой из оцинкованных бочек, что подвезли ещё с вечера к госпиталю, подгоревшей перловкой из солдатской столовой и едким дымом сигарет “Памир”, называемых тут пророчески “смерть в горах”.

На бетонной, исчерченной палёной резиной шасси, запятнанной бензином и машинным маслом взлётно-посадочной полосе, на рулёжках, на стоянках боевой техники уже всюю шла подготовка к предстоящей войне.

Крепились к закрылкам двадцать первых “МИГов” пятисоткилограммовые ФАБы, способные разметать в хлам не то что скалистые убежища моджахедов, но и сами эти скалы превратить в прах. Шниговались элегантными НУРСами блоки “восьмёрки”. Такие ракеты оснащались тысячей стрел размером со столярный гвоздь, каждая из которых пробивала человека ли, животину насквозь. Барабанами на тысячу с лишним патронов крупного калибра снаряжались пулемёты “крокодилов” о четырёх стволах. За чудовищную скорость в четыре тысячи выстрелов в минуту и хитрую конструкцию патрона, в котором помещалось аж две пули, выпирающий едой пулемёт прозвали здесь “металлорезка”. Пробовали не единожды на местных бурбужайках. Автобус рассекало пополам.

В тенёчке возле продовольственного склада громоздились сотни ящиков со свиной тушёнкой, колбасным фаршем, сгущённым молоком, коробки

с сухарями, сублимированной картошкой — всем тем, что будет поддерживать силы бойцов во время долгой боевой операции.

Готовились к боевым и госпитальные службы. Десятки литров йода, километры бинтов, центнеры гипса, коробки с промедолом и фентанилом, что уже в самые ближайшие часы помогут людям не чувствовать оторванных рук и ног, распоротой осколками плоти. И, конечно, десятки сверкающих цинком гробов, которые покуда сложили штабелями с глаз долой на задний двор медсанбата, но совсем скоро похоронная команда примется наполнять их телами героев, паять ящики оловянной проволокой и отправлять с “чёрным тюльпаном” на горячо любимую Родину.

Уже въезжали через КПП вереницы грузовиков с мотострелками и десантниками — по большей части удивлёнными, растерянными мальчиками из позабытых Господом и властями русских деревень и посёлков, ещё до недавнего времени не знавшими даже названия этой чудной страны, но теперь заброшенными сюда транспортной авиацией из сборных пунктов в Фергане, Ташкенте, Мары, не изведавшими в большинстве своём жерновов настоящих мясорубок, не понимающими, зачем они здесь и от кого должны защищать этот дикий, чужой народ, который и не просил их о защите, но сам защищался от них — отчаянно, смело, жестоко. Защищал выжженную, бесплодную свою землю, своих чужахх голозадых детей, жён, упрятанных от чужого взгляда хиджабом, саманные свои жилища. Но главное — Бога!

У большинства советских мальчиков в песочных камуфляжах, даже у самых смелых и отчаянных из них, Бога в душе не было. И не его они шли защищать. Значит, и Бог был не с ними. В этой войне он был на другой стороне. Но это мало кто понимал в ту пору.

Мальчики прыгивали с бортов “шестьдесят шестых” в полной боевой выкладке, молодые — в юфтовых берцах, слишком коротких, чтоб ползти по горам, собирающих десятки мелких камней и гранитной пыли, что стирают ступни в кровь, а старослужащие — уже и в кроссовках, доставшихся советским воинам подачкой от московской Олимпиады; в портках, пролежавших на складах где-нибудь под Вологдой за ненадобностью не меньше десятка лет, а теперь вдруг востребованных, но для боевых действий в местных горах не приспособленных, а оттого превращавшихся в рванину после первого же горного рейда. С сидорами, и “РДшками”<sup>11</sup> образца пятьдесят четвертого года, набитыми гранатами, “цинком”, патронами россыпью, портянками, сухпайком на три дня и аптечкой на случай ранения. Всяческое оружие тоже было при них. И звали его короткими, жесткими именами: АКС<sup>12</sup>, РПГ<sup>13</sup>, ДШК<sup>14</sup>.

В ожидании бортов мальчики сбивались повзводно на плацу слева от рулѐжной дорожки, падали “смерть в горах”, сплёвывая на бетон жёлтую никотиновую слюну, щурили глаза на занимающееся над Гиндукушем солнце, улыбаясь ему совсем по-детски, жались друг к дружке, ощущая каждой клеточкой тела причастность к великому этому потоку людей, в котором тебя как бы и нет на этом свете и жизнь твоя не имеет значения — есть только этот нарастающий с каждой минутой гомон сотен и тысяч молодых мужчин, предназначенных убивать. И быть убитыми.

В такие минуты полковник чувствовал гордость за свою великую державу — Союз Советских Социалистических Республик, принимающую на себя в который уж раз ответственность за судьбу целого мира хоть на дальних, хоть на ближних его рубежах. Гордость за этих мальчиков, безропотно исполняющих его приказы, даже если эти приказы обрекают на гибель. Гордость за надёжную нашу технику, способную сокрушить не то что любого врага, но целые страны и государства, стереть в порошок целый мир, если этого потребует Родина и партия коммунистов.

Предчувствие близкой войны волновало сердце, клокотало в душе крутым кипятком, оставляя далеко позади все воспоминания, заботы, мечты. Оставляя там, в прошлом, бетонные родительские надгробия на сельском погосте, дурманящую теплоту тела под свадебным платьем жены, школьные фотографии сына, его лейтенантский мундир. Всё это уже не имело значения. Казалось мелким, пустым. И только кровавая течка войны воспаляла

теперь все мысли и чувства этих мужчин. Только ей подчинялись они теперь без остатка. Готовые драться и умирать...

К пяти утра всё было готово. В кабинете полковника пластался синий дым сигарет, двигалась по кругу рывками секундная стрелка настенных часов да царственно взирал на офицеров с портрета генеральный секретарь, весь в звёздах и орденах. Сверили часы. У кого-то они отставали. У кого-то, наоборот, спешили. Люди в кабинете молчали. Тяжело, тягостно. Ждали звонка по закрытой связи. Ждали, когда одно только слово архангела в полевой форме запустит чудовищный механизм войны, высвободит ненасытного этого молоха, пожирающего людей, технику, силы, надежды и веру целого поколения.

Металлический зуммер “заса” — словно укол адреналина в самое сердце. Вслед за ним — приказы, короткие, как удары хлыста. Стон досок под спешащими берцами. Скрип портупей. Окрики. Шелест тактических карт. Бешеный радиообмен. Дым табачный — ещё гуще. Кашель — захлебистей, до слёз. Скрип карминового графита, обозначающего продвижение войск, взятые высоты, очаги сопротивления. И уже там, за окнами штаба, нарастающий, уходящий в звон гул десятков силовых установок боевых и транспортных “вертушек”, мельтешение винтов, разогретого рассветного “киселя”, возбуждающий запах отработанного авиационного топлива и оружейной смазки, человеческого пота и едкой молодой мочи. Бойцы грузились на борту нестройно, непарадно. Опустив глаза, в большинстве которых было больше страха, чем отваги. То и дело хватаясь за впереди идущих, оглядываясь удивлённо по сторонам, на горы, куда им предстояло сейчас вылетать, шли в чрево боевого борта, где на лавках уже устраивались такие же зашуганные и растерянные товарищи. Иные тоже ведь со страху, должно быть, хорохорились победно, словно прошли за короткую солдатскую свою жизнь не один десяток “боевых”, да все с лёгкостью и усмешкой, словно это и не “боевые” вовсе, а туристическая поездка в Сочи, культпоход какой-нибудь. Однако ж возгласы их бравые, скабрёзные шуточки, что прут из мужиков и ребят чаще всего от жуткого перепуга, глушило стоном вертолётных движков. И отчаянные искры во взгляде — мелким песком, поднятым и закрученным в протуберанцы винтами машин, — гасило.

Пройдёт всего-то несколько часов или того меньше, и из кровавого этого культпохода те же самые вертушки повезут тех же самых мальчиков в обратный путь. Живых ли, увечных или мёртвых, но совсем других. Не таких, как сейчас, в канун первой их битвы.

Гулкая молотьба вертолётных лопастей раз и навсегда обрубала их прошлые жизни, кромсала их неумолимо на всё, что было до сегодняшнего утра, и то, что будет после него. Для тех, конечно, кто ещё доползёт в этот завтрашний день.

Сомкнулась с лязгом протяжным гидравлическая аппарель грузового отсека, отсоединены пуповины заземления и аэродромной энергоподачи, включены топливные насосы, и рукоятка коррекции газа ушла вправо, разгоняя обороты несущего винта до максимальной его мощности. Кто-то из пилотов сбрасывает из блистера кабины на бетон “рулёжки” недокурную сигарету. И её относит лопастным ураганом прямо под ноги полковника. Он смотрит, как тлеет и превращается в пепел, в дым тепло чьих-то губ, мгновение чьей-то жизни. И что-то тёплое и живое поднимается из глубины его сердца. И нестерпимо щиплет в носу.

Медленно, одна за другой, вырываются транспортные “восьмёрки” на взлётную полосу. И тут, добавляя ещё шаг, ещё полшага несущего винта, с визгом истошным разгоняя обороты турбокомпрессоров, отрываются от земли. Красивые, уверенные в своей несокрушимой мощи машины. Их пятнистый питоновый камуфляж ещё несколько секунд различаем в предрасветной дымке персикового утра, однако восходящее из-за вершин солнце стирает цвет, превратит эскадрилью в стаю чёрных жужулиц, несущихся со стоном навстречу восходу.

Полковник знал, что, несмотря на два года тяжёлой войны, люди и техника были к ней до сих пор не готовы. В здешних горах не отыщешь

привычных каждому штурману радиомаяков, а поначалу не было даже толковых оперативных карт для обозначения пригодных для высадки площадок, кишлаков и дорог, по которым без труда передвигались местные партизаны. Найденные случайно в библиотеке материалы афганской экспедиции академика Вавилова издания 1925 года стали объектом массового копирования, поскольку опубликованные в книге карты оказались на удивление точнее современных генштабовских. По ним и летали. Да что там карты! Ведь и допуски на самостоятельный выбор места для посадки были не у всех экипажей. Не говоря уже про навыки пилотирования в горах, где плавным “блинчиком” не обойдёшься. Тут же брюхо пробьют. Крутые углы атаки и предельный тангаж запрещал регламент, который лётчики с опытом, невзирая на регулярные выволочки в штабе, успешно игнорировали, всё чаще используя на “боевых” манёвры с запредельными перегрузками.

Таким именно хулиганом числился в эскадрилье Витя Харитонов, за подобные циркачества переведённый полковником с боевой “восьмёрки” на командирскую “иволгу”<sup>15</sup>. Персональным водителем стал, как не раз в отчаянии сетовал Витя. Но документы на присвоение Харитонову звания майора уже ушли в кадры. И гордыню свою ему приходилось невольно смирять.

Родом Витя из далёкого от авиации русского города Кирова, хоть и близкого к столице, но исторически считавшегося местом ссылки отечественных вольнодумцев. И пускай в семействе Харитоновых для взрастания плодов вольнодумства почвы по советским меркам не имелось (папа работал на протезной фабрике, а мама трудилось акушеркой в роддоме), Витя по достижении совершеннолетия и окончании средней школы в срочном порядке собрал небогатый чемоданишко и умчался проходящим поездом в Сызрань для поступления в легендарный СВВАУЛ — военное авиационное училище лётчиков, где готовили воздушную кавалерию Страны Советов.

В училище Витя с первых же месяцев снискал репутацию хоть и отличника боевой и политической подготовки, однако курсанта рискованного, отчаянного, хулиганистого. Таких лётчики любят, а вот шушера из политотдела при каждом удобном случае непременно уест. Так что к выпускной “коробочке” лейтенант Харитонов успел несколько раз посидеть на “губе”, получить несчётное количество замечаний как в устной форме, так и в виде рапортов и даже предупреждение об отчислении. Зато и на доске почёта отметился. Лучший курсант. Гордость курса.

В Афганистан Витя прилетел одним из первых осенью восьмидесятого из Бухары в составе эскадрильи “восьмёрок” подполковника Белова. И вот уже больше года среди прочих бойцов сперва обеспечивал ввод советских войск, а затем и безуспешные попытки разгрома бородатых. Перевозил десантников и мотострелков, таскал цемент, арматуру и доски для сооружения блокпостов, спасал продовольствием отрезанный снежными заносами Файзабад, успел поучаствовать в “боевых” по захвату Кандагарского аэропорта и даже быть битым из английской винтовки системы “Ли-Энфилд”, которая совершенно точно достала бы его, если б не армейский бронезилет. Четыре, а то и пять вылетов ежедневно. От работы такой, без продыха, да от охочего к авантюрам характера Витя Харитонов к началу весны смело сажал свою “восьмёрку” одним шасси на грунтовые пятячки в горах, что позволяло снабжать боеприпасами и провиантом затерянные в скалах заставы, с лёгкостью ориентироваться среди панджшерских ущелий и стремнин; давил “металлорезкой” караваны контрабандистов, перевозивших в Пакистан лазурит. За похожую “спецоперацию”, во время которой Витя, вместо того чтобы сделать две ходки на дальний блокпост, загрузил из жалости на борт всех тридцать мотострелков в полной боевой выкладке, еле взлетел, выжимая из обессилевших на высокогорье движков последние признаки жизни, жёстко плавая лопатки турбин, однако же ребятишек на базу доставил в целости, хотя вертушку ухайдакал изрядно, под капитальный ремонт, за что и поплатился переводом на командирскую “иволгу”.

При всей своей удалости да бесшабашности на горах Витя внешне не походил. Горбатый нерусский нос с заступом, перешедший ему по наследству от засекреченных, видать, и вычеркнутых из анналов семейной хроники

вятских политкаторжан; блёклые, выцветшие какие-то глазки — мелкие, невыразительные; губастый рот. Если бы не длинные аристократические пальцы, которыми впору Шопена исполнять, а не штурвал держать, не крепкий золотистый волос, Витька вполне мог сойти за какого-нибудь тылового доходягу, попавшего в Афган по канцелярскому недоразумению.

Возлежал он теперь персидским шахом за стеклом дюралевого “фонаря”, взгромоздив ходули свои в неуставных пакистанских кроссовках поверх приборной доски, запустив для комфорта оба вентилятора да светофильтрами от восходящего солнца отгородясь. Позади на кресле бортинженера покоился кассетный магнитофон “Акаи”, приобретённый Витей в кандагарском дукане и выдающий пусть и затёртый от многочисленных перезаписей, но все ещё настоящий концертный звук “Свинцового цепшелина”, исполняющего “Лестницу в небо”.

— *There's a feeling I get when I look to the west,*

— медитировал в тиши токийского стадиона легендарный Роберт Энтони Планта, —

*And my spirit is crying for leaving.  
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees,  
And the voices of those who standing looking.  
Ooh, it makes me wonder,  
Ooh, it really makes me wonder<sup>16</sup>.*

Слов песни Витя не понимал, однако музыка эта печальная наполнила сердце его чарующей пустотой, волшебными переживаниями, мечтами несбыточными. Он глядел на чёрно-белую фотокарточку курносой блондинки в летнем платье на бело-чёрном ромашковом поле и знал, что обязательно вернётся в её цветной мир — с перезвоном боевых орденов на парадном мундире, в ореоле славы, с хрипотцой в голосе и напускной суровостью нахлебавшегося войны офицера. Кто угодно мог сгинуть в этой бойне. Но только не Витя. Кто-то неведомый и вездесущий больше года хранил его от гибели, ранений, контузий и плена, изготавливая Витю, видать, для каких-то иных свершений. Курносую звали Люсей. Она ждала бойца на улице Декабристов в городе Сызрань, откуда открывался романтический вид на волжские острова.

К восьми утра вертолётные эскадрильи сделали уже по несколько вылетов в Панджшер, доставляя на окраину кишлака Руха новых бойцов, которые вступали в бой, как водится, с ходу, без подготовки, умения и навыков партизанской войны. Ребята поопытнее, уже не раз ходившие на “боевые” и науку по зачистке кишлаков уразумевшие, в горячке сражения кровушки чужой и своей не щадя, пёрли с оглядкой, всем своим нутром прислушиваясь и приглядываясь ко всякой метнувшейся тени, шороху всякому, вздоху, отвечая на чужой этот вздох отрывистой очередью из-за угла, ручной гранатой — в калитку ли, в дверь, во двор — и ни на мгновение не задумываясь, что за дверью той могут быть хоть и иноземные, но все же люди — бабы да ребята. Для новобранных, войной ещё не обласканных, действие это безумное, жуткое, в котором и ближний треск автоматных очередей, и грохот “РГшек”<sup>17</sup>, и посвист калёных пуль, и первые трупы — всё как будто бы за стеклом и не с тобой сейчас происходит. Иные уже и поскуливали, схоронившись за саманной стенкой или каким скальным обломком, рвали зубами перевязочные пакеты, унимая бинтами царапину ли, дырку на собственной плоти. А эскадрильи мчали на смену им новую человечину. Грузили в чрева свои отработанный материал — раненых да убитых. И вновь пронзали небо траурным воем. Страх и ужас наполнили Панджшер.

Когда от музыки дурной и от солнышка, что крепко припекало даже сквозь светофильтры, Витю Харитонову окончательно разморило, тогда-то бортовой передатчик сорвавшимся от крика голосом дежурного офицера приказал запускать машину. Сделать это было недолго, поскольку второй пилот Сашка Зяблин и борттехник Миша Снегирёв в компании двух командированных

из Кундуза офицеров бортового узла связи, расположившись на порожних ящиках из-под ракет в тенечке возле шасси, ожесточённо резались в “очко” на чеки Внешпосылторга. Капитан Зяблин обычно побеждал в этой нехитрой игре, но нынче ему отчаянно не везло. Командировочный лейтенант из Кундуза уже выиграл у него десять рублей — месячную солдатскую зарплату. Так что, когда в открытом блистере появилась дремотная физиономия командира, а следом послышалась и обычная его команда “по коням”, Зяблин, презрительно сплюнув в сторону победителя сигаретный окурок, с радостью полез на борт. Вслед за ним потянулись остальные.

Пока полковник поспешал к “иволге”, экипаж проверял заряд аккумуляторных батарей, запускал и выводил на режим малого газа и вновь проверял систему после включения генераторов постоянного тока, грел движки, изготавливая двенадцатитонную махину к стремительному броску в ущелье, в самое пекло войны.

Понимая, что лететь нынче придётся, может, не один час в самых что ни на есть жестоких условиях, Витя ещё с утра распорядился заправить и расходные, и подвесные топливные баки, да ещё четыре бочки авиационного топлива на всякий случай залил, закрепил их в дальнем углу грузового отсека. Проследил, чтоб солдатики из роты обеспечения аккуратно снарядили все четыре блока подвески ракетами, ленты пулемётной не жалели, нескольких барабанов для пехотного гранатомета “Пламя”, ну и РПК<sup>18</sup> не забыли с аэродромным техником в придачу.

Тем временем вслед за полковником спешили к “иволге”, придерживая рукой фуражки (а может, и собственные головы), попавшие только что под раздачу на совещании в штабе комэск 262-й эскадрильи майор Викторов и капитан Казанцев из 716-й отдельной роты связи. “У вас, друзья, геморрой уже не только в жопе, но, главным образом, в голове”, — подвёл итог разбора полётов полковник и предложил виновным командирам самим расстреляться на боевых. Замыкал процессию полковничий порученец Паша Овечкин со спортивной сумкой через плечо, в которой хранился у него сухпаёк: китайский термос с цифиром, несколько бутербродов с сыром в вощёной бумаге, военторговские сушки, кулёк “раковых шеек” и пол-литра дагестанского коньяка “Дербент”. За неуставную курчавость рыжей шевелюры, вытянутое лицо и созвучие фамилии Пашу за глаза и прилюдно называли “Овца”. А он и не обижался. Смотрел на ребят добрым овечьим глазом с рыжими же ресничками и только улыбался в ответ. За доброту его, расторопность и собранность полковник ценил Пашку Овечкина. И таскал с собою повсюду.

Набилось их десять человек.

Взлетели.

От Баграма до ущелья курсом на северо-восток всего-то километров двадцать. “Иволга” отмеряла их лопастями несущего винта, слегка завалив нос и приподняв хвост, на номинальной, инструкцией предписанной скорости, за десять минут подняв командирский пункт управления на три с половиной тысячи метров.

С полными-то баками, да в другое-то времечко можно не то что до Термеза, но и до Душанбе долететь, выпить нормальной русской водки с чёрным хлебушком, селёдкой жирной, тихоокеанской, пловом отъесться с шашлыками бараньими, дыней медовой усладиться. Новости посмотреть о том, как колосятся наши нивы, а счастливые советские воины помогают благодарным афганским крестьянам рыть арыки и возводить мосты. Посмеяться над новостями такими, выматерить от души их создателей. Поглядеть на девчонок в коротких платьишках. Может, какую из них даже и укатать. И сразу — назад. Туда, где “брюшнячок”, гепатит, мясо, говно, смрад. Туда, где человеческая значимость, жизнь, дружба и любовь имеют совершенно иной накал, иную пробу. Равно как и человеческие грехи. Всё контрастно. Всё зримо. Несравнимо.

Сквозь захватанное пальцами безымянного бойца наземной службы оконце иллюминатора, сквозь хитросплетение его дактилоскопических узоров и линий судьбы, обозначавших великие загадки человеческого существования,



полковник с грустью смотрел на морщинистую землю цвета вяленого табака, на куртины дикой польни, реку цвета мутного пепла, ровную геометрию редких кишлаков и селений, означающую для совсем не ведомых ему людей дом, очаг, родину.

Но чем выше становились горы, тем меньше мира являла эта земля. Вздыхая клубы чахоточной пыли и дизельной гари, шли в створ ущелья колонны мотострелков, пёрли самозабвенно артиллерийские и миномётные полки, оснащённые хоть и не шибко новым, но всё же грозным оружием, исчисляющим тысячи тонн тротилового эквивалента, стали и свинца. Проплывали, плотно облепив броню машин пехоты, тысячи наших ребят, солдатиков рабоче-крестьянской армии, поскольку другие советские сословия от службы в армии такой обычно откупались. А уж в военную пору — особенно усердно. Барражировали в небе и совсем рядом с “иволгой” в рокоте силовых установок с десятков ударных Ми-24, прозванных тут за круглые ли ноздри воздухозаборников или за кровожадность их “крокодилами”. Штурмовая авиация проносилась где-то в выси со скоростью звука.

Ничего подобного не было у врага. Ни ракет, ни бомб таких, ни гаубиц. Не говоря уж об авиации. Да и самого врага, по данным разведки, в ущелье было в два раза меньше. Но вот именно этот тщедушный по меркам кремлёвских стратегов враг удивительным образом уже второй год держал оборону. Дозволял нашим войскам, порой даже не ввязываясь в драку, войти в ущелье, чтобы там, под защитой скал, подобно стае натренированных охотничьих лаек, трепать и пускать кровь русскому кабану. Почти всегда эти рейды, в которых ограниченный контингент советских войск терял сотни людей, подбитую и выведенную из строя технику, заканчивались нашей победой и следовавшим за ней перемирием. И почти всегда новым вторжением. Сколько их было, начиная с весны восьмидесятого? Полковник посчитал, что нынешнее будет пятым. А сколько ещё впереди? Да и возможно ли вообще покорить этот смелый народ? Заставить по большей части неграмотных, нищих, зачуханных людей проникнуться идеями европейского марксизма и русского социализма, поверить и двинуть дружной толпой в светлое завтра? Для этого их хотя бы лет двести нужно держать в узде крепостного права, как держали в нём русский народ. Драть на части гражданской войной, войной Отечественной, лагерями да каторгой. И то вряд ли народ этот после страшных таких испытаний кому-нибудь покорится. Тысячи лет жгли его, резали, убивали. А он, гляди, живёт. Скалится со своих гор на пятнистые фиюзеляжи с красными звёздами. Целится в огонёк папироски. Как его победить?

На подлёте к Рухе дыма, масляной копоти, вспышек грозových внизу стало больше. Шёл бой на земле. Чадила подбитая техника. Гибли люди. Воплощались в жизнь штабные задачи. Хотя с высоты в три с лишним километра людей в этой битве было не различить. И смерти их — не заметить.

А тут, за дюралевой обшивкой вертолётa, музыка англосаксов, струющаяся из командирского магнитофона, и сигаретный дым из кабины, и хриплый шелест радиосвязи, словно символы иной, исполненной мира жизни, в которой, как кажется то ли по глупости, то ли от детского нашего простодушия, нет места гибели человеческой. Всякая смерть — не про нас. Полковник, грешным делом, тоже так думал, ни душевным смятением, ни предчувствием опытного офицера не подготовленный к тому, что вот же она — заглядывает в заляпанное окошко иллюминатора. Манит пальцем. Лыбится криво. Скольких покойничков переидал полковник за два года этой войны — и не счесть! Обгоревших, раздавленных, растерзанных, юных. Видел, а всё равно верил упрямо, что смерть на войне — удел молодых. Что возьмёт она кого угодно, только не тебя. Просто потому, что невозможно это. Что это — за гранью твоего понимания.

Покуда, устроившись за столом с командирским планшетом, полковник рвал глотку с “Окабом”<sup>19</sup>, отправившим пять “восьмёрок” в дальний закрай ущелья без должной разведки и согласований, пока связывался с командованием десантников, которых туда планировалось забросить, и с артиллеристами, которым по хорошему-то стоило их прежде того поддержать, Овца тщательно, с искусством профессионального халдея исполнял нехитрые

обязанности командирского порученца. В деле этом Овца поднаторел, отработав полгода до призыва в директорской столовой Харьковского завода имени Мальшева, снискав за нужную теплоту котлет, прохладу компота, учтивость и молчаливость благосклонную рекомендацию самого заводского головы.

Теперь он сервировал чистой салфеткой откидной столик, раскладывал на керамической тарелке с олимпийским мишкой посередине бутербродики с сыром, укрытым заботливо изумрудным листочком петрушки и полукружьем лимонным. Мutil чифир с молоком, чтоб воевода не только набрался сил, но и связки в горле смягчил. Да полосатую конфетку обок стакана в мельхиоровом подстаканничке присовокупил. На каких продовольственных складах, в каких военных лавках или вражых дуканах добывал все это Овца — неизвестно, только быт полковничий изо дня в день обеспечен был наилучшим образом без лишних напоминаний, суесловия и выволочек. К тому же Пашка был добр без всякой меры. Всех любил. Со всем смирялся. “Вот вернётся в Союз, — обещал ему полковник, — в монастырь определю. Цены там тебе не будет, Павел!” Тот кланялся в ответ с благодарной улыбкой.

Командированные офицеры узла связи тем временем выдавали в эфир координаты высадки тактического десанта, групп прикрытия, целей для штормовой авиации. Укомплектованный под самый потолок радиостанциями коротковолновой и дециметровой связи, ретрансляторами, станциями шифрования, планшетами, десятком антенн и даже вспомогательной силовой установкой, воздушный командный пункт был связан незримыми нитями со всем, что пролетало сейчас в небе или только готовилось к вылету в ущелье, беспрекословно подчинялось ему, исполняло рубленные его команды.

Попадёшь ли в кровавую засаду, взлетит ли мячиком подорвавшаяся на фугасе боевая машина пехоты, утолкают ли бородастые штормовым огнём к пропасти — когда ещё свой пёхом да по горам подоспеют? Вот и выходит, что лучше друга, чем “вертушка”, у бойца в этой войне не предвидится. Она и вытащит из самой, как говорится, глубокой жопы, и окружение прорвёт, и раненых с мёртвыми с поля боя вывезет, и новых бойцов в подмогу доставит. “Мальчишки по вызову”, как называл самого себя и своих сослуживцев Харитонов Витя.

Мальчишки не видели, но в тот же миг услышали в эфире звуки гибели сто седьмого борта: звуки прошитой крупным калибром дюралю, сбой и турбулентный кашель силовой установки, скрежет гнущегося металла. И крики, и отчаянная брань, и вой гибнущего экипажа.

Сто седьмой вызвала на подмогу угодившая в засаду на окраине кишлака рота разведчиков. В горячке боя, сбитые с толку противоречивыми командами комполка, промчались они мимо заброшенных с виду, мусором придавленных *кяризов*<sup>20</sup>, не побросав туда для верности хотя бы по одной гранате. А как прошли, так “духи” оттуда, словно черти из табакерки, и повыскакивали. И ударили в спину. Семь ребятишек сразу погибли, четырнадцать ранено. Четырех — тяжело. Слава богу, радист уцелел. Схоронился за толстой саманной стенкой, благим матом орёт в эфир позывные и координаты, молит о помощи. Но ни радист этот безымянный, которому всего-то через девять минут боя осколок фугаса снесёт пол-лица, и тот в агонии ещё несколько секунд будет скрести пальцами сухую землю, впитывающую алую его кровушку, ни командир сто седьмого, развернувший машину на угол атаки, лишь только получил координаты разведчиков, не знали, что в ста метрах над кишлаком, в неглубокой, заросшей колочками и польньёю дикой расщелине сгорела близкая их погибель.

Звали погибель Рузи. Был он молод, кипарисово строен, ладен телом и лицом, в котором можно было прочесть и благородство древних персидских князей, и простоту пуштунских дехкан. Голубые глаза Рузи, рыжие его волосы, выбивающиеся крупными тяжёлыми локонами из-под шерстяного *читральского паколя*<sup>21</sup>, густая борода цвета перезревших каштанов, упрямый, даже несколько надменный взгляд делали его похожим на принца Персии, на сказочного Рустама, встающего на бой с Белым Дивом. До вторжения Рузи окончил философский факультет Кабульского университета, там же вступил в местную ячейку “Исламского общества Афганистана” Бурхануддина

Раббани. А поскольку всё семейство его, и самая ближняя родня, и сам Рузи происходили из Рухи, то после ввода советских войск и последовавших вскоре вслед за этим выпускных Рузи отправился не в магистратуру Исламского университета в Медине, как планировалось, а в ущелье. И встал на защиту своей страны.

Ребристый ствол его китайского ДШКМ калибра двенадцать и семь и скорострельностью тысяча выстрелов в минуту покуда был прохладен и тих, но уже снаряжён, устремлён в чистое весеннее небо. Рузи накануне обмотал ствол крупнокалиберного пулемёта грязными тряпками, обтёр пылью, смоченной слюной, и воронённый ствол растворился на фоне камней и сухих застарников. Лента с патронами была уже запровлена, тренога надёжно закреплена в трещинах и на дне его убежища, а предохранитель снят. Желтокрылая горная бабочка александор опустилась на пулемётный ствол и теперь грелась на нём, подставляя свои чернильные татуировки ласковому светилу. И даже непрерывный грохот разворачивающегося внизу боя её не пугал ничуть. Вспорхнула она со ствола, лишь когда из-за ближнего горного уступа с рокотом лопастей, покачиваясь боками из стороны в сторону манёвром “кленовый лист” вынырнул сто седьмой. И с хода запустил “металлорезку”. До русского вертолётца из засады Рузи было всего-то метров пятьсот. Этого расстояния было вполне достаточно, чтобы взять в прицел раскачивающуюся кабину и мысленно прочертить кривую до масляного радиатора, главного редуктора силовой установки и внешнего бака. И втопить гашетку.

Он жал на неё в зашедшемся грохоте ствола, лязге засылаемых патронов и перезвоне отскакивающих дымящихся гильз, в жёсткой кинетической тряске, в кислой дымке горелого пороха. Жал до тех пор, пока не кончилась лента и не ударил боёк вхолостую. Цель его уже блестела на солнце фонтанирующим из радиатора маслом, верещала редуктором, дымила жирной графитовой смоляю и безудержно рушилась вниз.

“С именем Аллаха, милостивого, милосердного”, — прошептал Рузи сухими губами, сползая на прохладное дно расщелины. Он не знал, засекли ли его вражеские пилоты, или, может быть, кто-то другой с земли заприметил его убежище, яростный его пулемёт, и в это самое мгновение передаёт в эфир точные координаты. Стокилограммовый фугас или неуправляемый реактивный снаряд могли бы разнести его засаду в мелкий щёбень, перемешанный с железом и кусками человечины, как это было с Алимом или Хайруллой — его одноклассниками, от которых остались только мясные ошметки, усеянные навозными мухами. Но минута ползла за минутой, а с земли, где упал подбитый вертолёт, густо тянуло гарью, слышался усталый треск нескольких автоматов да редкие миномётные разрывы. Бой подходил к концу.

Командирская “иволга” на беду оказалась ближе остальных экипажей к подбитому борту и потому первой пошла ему на подмогу. В эфире всё ещё слышался слабеющий голос бортмеханика, сообщавшего, что командир убит, второй пилот обгорел сильно, но ещё жив, что сам он тоже ранен в шею, били по ним с ближней горы, но откуда точно, засечь не смогли. “Иволге” нужно было подобраться теперь к сбитой машине с осторожностью, отбормотаться вначале по скалам, прижав бородатых, которые там притаились, на самое дно, в самую его глотку. И только после того — снижаться.

Впереди по курсу машины уже виднелся графитовый столб дыма от подбитого сто седьмого, когда в “подвал” к экипажу, пригибаясь, вошёл полковник. Прикинули вместе, куда лучше бить. Выдали в эфир собственные координаты для прикрытия. Предупредили всех, в том числе и сто седьмой, о готовящемся ударе. Витя подвесил машину над ущельем, изготавливая “нурсы” для боя. Созданные техническим гением конструктора Нудельмана двадцать ракет класса С-8 с кумулятивным зарядом и столько же с зарядом для уничтожения бетонных укрытий ещё покоились в двух пусковых блоках на ферменных консолях по бокам фюзеляжа. Весом пятнадцать килограммов и полтора метра в длину, каждая ракета на расстоянии в полтора-два километра превращала в гравий даже скальный гранит. Витке Харитонову и в визир прицеливаться было не нужно. Развернул борт по горизонту влево, слегка приподнял рулевым винтом хвост и нажал пусковую кнопку. Восемь

ракет, оставляя за собой пепельный шлейф дыма, ушли в сторону гор. Полковник видел, как дыбит, крушит нещадно ракетная мощь державы ближнюю гору, и вместе с тем отчётливо, с горечью какой-то понимал, что сколько бы мы их ни сокрушали мегатоннами взрывчатки, стали, пороха, сколько рек крови ни пролили, горы эти будут стоять вечно. И ущелье это. И речка на дне ущелья с обуглившимися остовами русской бронетехники по берегам. Его не будет. И сына. И не рождённых покуда внуков. И сотни грядущих поколений исчезнут без следа в неразличимой космической дали будущего. Но горы эти останутся навсегда.

— Снижаемся, Витя, — приказал полковник, — так ты и наших передавишь.

Стрелка часов на приборной доске “восьмёрки” показывала четверть одиннадцатого. Жить полковнику оставалось ещё двадцать три минуты.

Если б он знал об этом, то, должно быть, провёл бы их не в прокуренном “подвале” командирской “иволги”, а хотя бы в сосредоточенном одиночестве, оборотясь мысленно ко Всевышнему со словами покаяния, с мольбой сердечной о прощении на Страшном Судище Его, с воспоминанием всех свершённых или только прокрадывающихся в душу грехов. Но не верил полковник в смерть. Не верил и в жизнь вечную. Даже мысли такие посещали его редко. А если и посещали, то воспитанное сызмальства материалистическое осознание бытия не давало этим мыслям просочиться в глубину его партийного сердца.

Не ведал полковник и того, что оглушённый, с полопавшимися барабанными перепонками, дипломированный теолог Рузи уже протирает глаза от пыли, а уши от сукровицы и вновь поднимается во весь рост к пулемёту, и заряжает в него новую ленту бронебойно-зажигательных патронов. И целит в пятнистую громаду.

Единственная очередь, которую успел выпустить по “иволге” Рузи, раскромсала хвостовую балку с рулевым винтом да подпалила масло в главном редукторе. И в следующее же мгновение ответным огнём вражью засидку накрыло залпом восьми новых “нурсов”. Один из них угодил напрямик в Рузи. Полутораметровая ракета, начинённая килограммом взрывчатки, со скоростью триста метров в секунду перемолола вчерашнего студента в жидкий фарш. Только осколок челюсти с разодранными, ещё не знавшими поцелуев губами и двумя фарфоровой белизны зубами взрывной волной отшибло далеко на самое дно ущелья, где они теперь и сверкали одиноко в прохладе и вечном спокойствии.

А вот на борту “иволги” никто не пострадал. Положение машины, хоть и бедственное, множество раз было отработано и в училище, и в бою, в аварийных картах прописано. Машину нещадно заваливало вправо и мордой вниз, но Витя со всей дури вытягивал её ручкой управления в обратную сторону, переводил в режим авторотации, на котором с высоты в семьсот метров да с его-то опытом можно было приземлиться, “аки херувимы”.

— Зяблик! — орёт второму пилоту. — Гаси сигнал направления!

Сашка выключает канал автопилота. Следит, чтоб лампочка погасла. И в ту же секунду на верхнем щитке — красная вспышка тревожной кнопки.

— Пожар в главном редукторе! — орёт Сашка Зяблин.

— Снегирь! — кричит бортмеханику Витька, всё еще выравнивая крен. — Включай автоматику!

— Не включается.

— Давай вручную.

Но красная тревожная кнопка пульсирует кроваво. Ни первая, ни вторая очереди пожаротушения не срабатывают. И несмотря на то, что комэск Викторов вместе с Казанцевым наконец сбросили заклинившую бортовую дверь, в грузовом отсеке уже нечем дышать. Нижняя тяга авторотации пламя в главном редукторе только сильнее распалает. Для операторов командированных такое приключение, видно, из новых. Вцепились в блоки связи чёрными от копоти руками.

— Не бздеть, — велит полковник уверенно и с улыбкой, чтоб ребята не боялись и духом не пали, — машину посадим. Верно, Витюша?

— Так точно, товарищ полковник! — вторит ему Харитонов. — Сядем все!

Кранами остановки глушит двигатель, а Мишка Снегирёв вырубает бортовые аккумуляторы. Смолкла машина. Утихли оба движка. Лопасты подчиняются теперь только воле противотока, что поднимается снизу с многотонной тяжестью падающего борта. Осталось сделать подсечку и подорвать шаг. Слава богу, внизу — ни стремнины горной, ни отвала гранитной крошки, по которой “восьмёрка” скатится в пропасть, как на салазках. Слава богу, что прямо под ними — довольно ровная по местным меркам площадка. Несколько валунов весом под тонну да саманная сараюшка — не в счёт.

— Закрепились! — кричит Витька. — Садимся жёстко!

В подвале места только для троих. Пришлось полковнику, глотая жирную копоть от горящего редуктора, возвращаться на своё место возле планшета, крепиться ремнями к креслу, ждать сильного удара о землю. Командировочные и взятые, на их беду, офицеры тоже пристёгиваются, матерятся, плюются ошмётками гари, что горькой слизью оседает уже и в глотке, и в лёгких, ест глаза, забивает нос. Полковник чувствует, что тоже наглотался этой дряни. В голове штурмит нещадно. Ломит тисками виски. Слезы из глаз. И этот не унимающийся, лающий кашель. “Ну, ничего, — успокаивает себя полковник, — это ненадолго. На минуты. Сейчас сядем, и я продышусь. Воздух тут чистый, добрый. И водички найдём. Да и подберут нас совсем скоро. Всё нормально. Ещё пять минут”.

Но уже через три с половиной минуты всё, что осталось от искорёженного хвоста, со скрежетом цепануло землю, стойки шасси подломились, оглушая пассажирский отсек и “подвал” пронзительным визгом разрушающегося металла. “Иволга” со всей слоновьей тяжестью грохнулась пупом о землю; взвыла, заголосила металлическими конструкциями, скрежетала дюралю ещё метров сто по каменистой, выжженной земле, пока не уткнулась мордой в глинобитную сараюшку, разметав повсюду сухой козий навоз.

Первыми, матерясь и отхаркиваясь от гари, выскочили ошпаренно комэск Викторов, капитан Казанцев и безымянный техник, оказавшиеся в этой переделке и на этом борту вообще-то по чистой случайности, а потому с некоторой досадой, с невысказанным упрёком и к дню этому, и к полковнику, распорядившимся ныне их судьбой не самым полезным образом. Вслед за ними мчался подалеже от подбитой, польхающей вовсю огнём машины Пашка Овечкин, которому пожаром неуставную рыжую шевелюру подпалило изрядно, брови его и реснички овечьи тоже жаром повыжгло, так что походил и пах Овца теперь осмолённой животиной. И даже возбуждённо что-то мычал. А уж следом и командированные операторы прут на волю. Словно рыбины, выволоченные на сушу, жадно и часто глотают воздух, наверняка нахлебавшись гари этой досыта, пластаются по земле, блюют кашей прямо под себя, дико пучат глаза с кровавыми разводами капилляров. Подгоняемый хриплыми от одышки, короткими от немоги окриками полковника, экипаж выскочил из машины последним, тоже, конечно, поблёывая, но то и дело озираясь назад, на главный редуктор, что бушевал огнём всерьёз, плескался раскалённым маслом, растекался тысячеградусной влагой всё глубже и ближе к топливным бакам машины.

— Наза-а-ад! — заполошно орал Витька Харитонов. — Ещё-о дальше! Наза-а-ад!

Унавоженный жирной копотью до абиссинского состояния и оттого облик своим и правда смахивающий на чертей, бежал героический экипаж от пышущей огнём и жаром машины всё дальше, позабыв и про своего командира, заместителя командующего авиацией 40-й армии, и про величие родины, и, само собой разумеется, про русскую солдатскую поговорку: сам погибай, а товарища выручай. Полковник покидал вертолёт последним. Его шатало, мутило до тошноты. Заплывшие слезами глаза уже и не различали ничего вокруг, кроме бледного пятна дверного проёма напротив. Уже и на плечи его, и на фуражку стекала вязкой горячей соплей пластиковая оплётка электрических кабелей. Уже опалило огненным вздохом лицо и руки, лицо по-детски как-то прикрывавшие. Но вот же, рука нащупала покорёженную

дюраль проёма, и осталось ему сделать всего-то не больше шага, только нога в шаге этом вдруг запинаясь о выломанную штангу, подкашивается, валится командир вниз. Кусок дюралевого обшивки и конфетный фантик от “раковой шейки” на нём — вот и всё, что увидел полковник в последнее мгновение своей жизни. “Господи Иисусе!” — то ли в ужасе, то ли в испуге прокричала его душа.

В следующее мгновение девятьсот литров авиационного топлива, разрывая молекулярные связи, скорость звука опережая, сдетонировали, вспыхнули яростно огненным взрывом, корёжа и испепеляя всё живое и неживое на десятки метров вокруг. Накрыли они опешившего, растерявшегося Пашку Овечкина, полковничьего порученца, который то ли по дурасти своей, то ли от доброты извечной бросился на подмогу оступившемуся начальству, да так и остановился, и стоял несколько секунд, объятый огненным ураганом, и горел.

Истерзанное тело полковника взрывной волной вышвырнуло неподалёку от Овцы. Тела их лежали рядом, дымясь, источая бензиновый смрад вперемешку с запахом горелого мяса. И если на скорченном теле Овцы ещё тлели обрывки “песочки”, китайские кроссовки ещё оплывали горелым пластиком на ногах, то труп его командира, оказавшегося в самом эпицентре взрыва, был всё же сохранён Господом Богом для достойного погребения, не испепелён в прах, обуглен местами до жёлтых костей, наг и в наготе своей страшен.

Позади трупов расцветал пышно, дыбился в небо огненный букет, искусно сплетённый из траекторий рвущегося с глухим треском и свистом боеприпаса, оранжевых вспышек сочащейся гидравлической жидкости и масел из раскалённых узлов, изумрудных и аквамариновых протуберанцев плавящейся меди, латуни, свинца, бенгальских огней магия. Красиво горел вертолёт. Скорбно.

Оставшиеся в живых только через полчаса смогли подступиться к трупам. Выволокли обоих подальше от пепелища. Уложили в сухой навоз, что разметало окрест при падении “иволги”. А поскольку накрыть покойников оказалось нечем, Харитонов стащил с себя провонявшую потом рубаху, да еще и майку и покрыл ими лица мёртвых. Закурили. Молча, замороженно наблюдая, как желтокрылая горная бабочка александор перепархивает по обуглившимся телам. Через несколько минут над ущельем уже грохотали могучие лопасти помощи и отмщения.

### **3. Фессалия. В год консульства императора Деция Траяна II и Веттия Грата (250 год)**

Вот уж три дня, как обосновался Киприан в пустынной пещерке у подножия священного Олимпа.

Шёл он сюда без малого восемь дней, а до того столько же плыл морем на старом судне под грохот парусов, наполненных штормовым ветром, под унылый скрип вёсел измученных рабов. Родители снабдили его деньгами, что хранились в кожаном мешочке у пояса, провиантом на первое время, а верховный понтифик Луций Красс ещё и манускриптом, адресованным сивилле Фессалийской, Манто. В изнурительном путешествии по морю Киприана развлекала только “Ахиллеида” Стация, вечно голодные, как и сам он, бакланы над парусами да дружные стаи серых дельфинов, что мчались впереди корабля. Иногда он вёл беседы с торговцами оливковым маслом, с учителем риторики из Дафны, который возвращался из Сирии после похорон отца, иногда с интересом и естественным недоверием слушал рассказы молодой антиохийской христианки, утверждавшей, что в Иудее появился, был распят и воскрес новый Бог. На вымоченной солонине, сушёных осьминогах и ячменных лепёшках Киприан совсем исхудал, а бесконечная качка и в довершение ко всему жестокий шторм, настигший их посудину возле Лемноса, что двое суток трепал, выворачивал кишки и душу, превратили его из помощника верховного понтифика в бледного истощённого доходягу.

На ласковых фессалийских берегах, усеянных, особенно вблизи гавани, множеством таверн и постоянных дворов, мальчик, впрочем, скоро откормился, лицом порозовел и даже потратил несколько монет, взяв в наём ослика для дальнейшего путешествия к Олимпу.

Он уже виднелся вдали, вздымал седую свою вершину над безмятежностью сосновых лесов, малахитовых холмов, прохладных долин, усаженных рукотворными рощами олив и смоковниц, рек торопливых, бирюзовых озёр. Охваченные полуденной меланхолией, лениво отдыхали в тени деревьев стада тонкорунных коз. И юный пастушок играл на свирели, вызывая грустной мелодией к чувствам наяды, чей звонкий голосок свежо журчал неподалёку. Жаворонки, овсянки, щеглы, трясогузки наполнили воздух окрест гимнами счастья. Мраморные святилища, чьи колонны до самых пилястров увивал дикий плющ, манили священной прохладой камня, трепетом божественного присутствия. И чем ближе подбирался Киприан к Олимпу, тем трепет этот в сердце его становился всё более явственным и волнующим. Иногда дорога, по которой он двигался от селения к селению, заканчивалась прямо посреди агоры, и тогда он останавливался в таверне, чтобы за несколько монет подкрепиться овечьим сыром с лепёшкой, горстью смокв и расспросить местных пастухов и горшечников, какой дорогой, а чаще — тропинкой выйти ему к священной горе. Пастухи, горшечники и иной простой люд дивились юному возрасту путешественника, намеренно пугали того рассказами про свирепых *гарпий* и *ликантропов*<sup>22</sup>, что летают и бродят в окрестностях Олимпа будто бы стаями, пожирая празднующихся путников. Но юный Киприан не страшился ни гарпий, ни оборотней, от которых у него в памяти хранилось множество заговоров и молитв. Да и не тронут они нипочем Аполлонова служку.

За сотню стадиев до подножия горы селений и вовсе не стало. Пробираясь по узкой тропке, проложенной дикими козами, Киприан исцарапал лицо и руки о колючки дикой ежевики и шиповника. Ослик его несчастный совсем из сил выбился. От стекающих струек пота ранки саднило, запах смешанной с потом крови звал к себе полчища слепней и мух. Так пробирались они не меньше пяти стадиев всё дальше на север, пока не упёрлись в плетёный ивовый загон. В нём переминались с ноги на ногу полдюжины чёрных козочек, возможно, дальних потомков мифической Амальфеи, вскормившей младенца Зевса жирным своим молоком. Подле загона — сложенное из колотого базальта низенькое строение, вероятно, обустроенное тут пастухом для отдыха и ночлега во время перехода на дальнее пастбище. Да вот и сам пастух, сидит на корточках на замшелом валуне, полощет в чистом ручейке свои рубища. На плече его, тёмном, как сосновая кора, значились стигмы, состоящие из четырех латинских литер MFRI, обозначавших, по-видимому, аббревиатуру имени римского узурпатора Марка Фульвия Руфа Иотапиана, чью голову в прошлом году в Сирии отсекла его же собственная солдатня. На шею пастуха свободно болтался ржавый стальной ошейник, извещавший Киприана, что перед ним, по всей видимости, *fugitivus* — беглый раб.

Звонкий голос ручья позволил мальчику сторожко приблизиться к рабу совсем близко. И тот вскочил, в испуге озираясь по сторонам, лишь только услышал его шаги за спиной. С мокрой тряпкой в руке, по которой стекала на землю вода, со взором диким, густой вклокоченной бородой цвета меди и заштопанной ниткой левым глазом, походил он на загнанного Пана. Только рогов козлиных не доставало.

— Не страшись меня, — молвил отрок, — худого не сделаю.

И протянул к нему раскрытые длани. Но беглец всё ещё взирал на мальчика с опаской. Глаз его единственный вращался ошалело, ощупывая того с головы до ног, не упуская в его облике ни одной детали, а потом и ослика, и поклажу на нём, и заросли дикого шиповника позади животного. И когда, наконец, убедился, что ничего ему не угрожает, взялся за мокрое рубище и с силой отжал его до последней капли. И даже улыбнулся.

Раба звали Феликс. Произвела его на свет в Пальмире рабыня крупного торговца китайским шёлком Квинта Руфа. А поскольку хозяин торговал не только нитью шелкопрядов, но и людьми, то продал её на блуд, а стало

быть, и имени отца, конечно, никто не ведал. Но и нечаянная беременность свободы не даровала. В родовой горячке рабыня померла. Выпавшего из неё мальчика, в слизи и сукровице, что орал слишком настойчиво, купцова стряпуха хотела было сразу хрястнуть головой о камень, но пожалела зачем-то, явив миру нового раба. И, словно в насмешку, назвала его Феликсом. То есть “счастливым”.

Скверная характером и к тому же исповедующая веру ханаанскую, стряпуха Ашеш сохранила мальчика, конечно, для нужд своекорыстных. С пяти лет Феликс таскал в тяжёлых горшках помой, сперва грузил, а потом мыл и чистил овощи для купеческого стола, перебирал сухую фасоль, молот на каменных жерновах кукурузное и ячменное зерно. Подрос — носил воду, дрова для жаровен; мыл, драил до блеска тяжёлые кедровые кухонные столы, обитые медью; впрягаясь в скрипучую тележку вместо мула, бегал за десять стадиев до городского рынка, а нагрузившись провиантом, вновь тянул поклажу в обратный путь. Здесь, на чадящей жаром и ароматными испарениями кухне, он и кормился, и спал, и жил до пятнадцати лет. А как вступил в пору цветения, как стали заглядываться на красивого отрока девицы да состоятельные горожане, был продан задорого в утеху плотскую сперва одному, а затем и другому, и третьему гражданину, покада через несколько лет не очутился во владении семейства Иотапиаинов, чья долгая история брала начало, согласно семейным преданиям и манускриптам, аж с правителей Коммагенских.

Порочная мода на греческую любовь, захлестнувшая империю ещё со времён императора Адриана, с годами распространилась не только в столицах, но и в дальних восточных провинциях, где считалась, особенно среди военных, аристократии и свободных граждан, проявлением мужества, власти, символом имперского превосходства над покоренными странами и людьми.

Ветеран IV Скифского легиона, в прошлом человек заслуженный, прошедший горнило Парфянского похода Каракаллы и разгрома армии при Нисибисе, Антоний Валентин после воинской службы так и остался в Сирии, возглавив по просьбе Иотапиаинов их собственную преторианскую гвардию. Ушибленный головой да битый многократно мечом, топором, пикой, Антоний с годами сделался и вовсе дурной. Его невоздержанность и надменность, вспыльчивость и жестокость были притчей во языцех даже среди подчинённых ему гвардейцев. А уж народ бесправный и вовсе криком кричал от его причуд. То скормит болящего голодным боевым псам. То вырвет язык чрезмерно болтливой рабыне. Мальчика, по случайности разбившего ценную этрусскую вазу, распорядился бросить в бассейн с муренами, которые того и сожрали. А уж пощечинам, выдавленным глазам, ушам и носам отрезанным не было счёта.

Мальчишков и юношей для утех у Антония было почти полсотни. Феликс был последним, кого купил ветеран за тысячу денариев.

И первым, кто осмелился поднять на него руку.

Случилось это через долгих три года насилий то специально изготовленным для такого рода истязаний полуметровым дубовым фаллосом, то человечесьей берцовой костью с обтёсанными суставами, то живыми угрями. От истязаний этих невероятных Феликс тихо превращался в постоянно стонущее, обливающееся кровью и слезами существо, от бессилия и страданий сменившее человеческий облик на животный. И всё же какой-то последний, видать, лучик достоинства пробудился в нём вдруг и с нечаянной могучей силой выплеснулся на пристроившегося в очередной раз позади ветерана сокрушительным ударом валявшегося тут же дубового фаллоса. Феликс дубасил Антония без устали ровно столько же времени, сколько тот обычно предавался с ним плотским утехам, от чего череп ветерана, в конце концов, хрустнул, обнажая взору раба серое влажное вещество. Но раб и его разmozжил дубиной.

С того дня Феликс и впрямь сделался зверем. Даже отправленные на его поиски преторианцы не смогли разглядеть и обыскать те узкие расщелины, заросли колпачек, заброшенные кладбища, где хоронился он в своём долгом бегстве от возмездия. Изловили его только через год на границе с Фракией: он был опознан по стигмам на плече встречными лесорубами,



которые набрели на него, схоронившегося на ночлег в брошенной медвежьей берлоге. Был Феликс дик, взглядом бешен, оброс рыжей шерстью, в которой поселились во множестве насекомые. Раба пленили. В ожидании сообщения от владельцев посадили на железную цепь. Накормили похлёбкой жидкой. Но то ли ржавая цепь была слишком худа и ненадёжна, то ли сыскал Феликс поблизости от себя на скотном дворе подходящий инструмент, только оковы эти он всего через пару ночей сбросил и вновь бежал, теперь уже в Македонию.

Устроившись на теплых камнях возле костра, Феликс до самых сумерек рассказывал Киприану историю своих мытарств, покуда на чёрном бархате неба не просияла бриллиантовая россыпь крупных и крошечных звёзд. Новорождённый месяц тонко вздрагивал в космической пустоте. Звонкий днём голосок родниковой нимфы стал теперь совсем сонным, усталым. Жарко дышали прижавшиеся боками друг к другу козы. И потрескивал, постреливал алыми искорками ствол сухой акации.

— Слыхал ты о Христе — царе Иудейском? — спросил вдруг Феликс, задумчиво глядя в огонь.

— Том, что был распят вместе с разбойниками и будто бы воскрес? — отвечал Киприан. — Хорош царь! Раз воскрес, почему же не смог вновь занять свой престол?

— Отчего ты решил, что не занял? Только престол не Иерусалимский, но небесный, — молвил раб.

— У меня другие боги, Феликс. Красивые и величественные. И их престол совсем рядом. А где твой бог? Покажи мне его престол. Может, потому, что это бог рабов, ничего у него нет. Даже храмов. Говорят, вы собираетесь в криптах.

— Не знаю, как другие, а я молюсь ему здесь, — отвечал Феликс, указывая на сложенное из базальта пастушьё убежище и вроде не замечая иронической улыбки на лице отрока, чьё детство прошло в окружении совсем иных, мраморных святилищ.

— И он слышит тебя отсюда?

— Конечно, слышит, — отозвался раб. — Ступай за мной, увидишь сам.

В хижине было темно и глухо, но, когда Феликс зажжет масляный светильник, Киприан увидел начертанный на подкопченных камнях символ новой веры — хризму. И вновь усмехнулся в душе своей, поскольку разве можно было сравнить величественные мраморные статуи с золотыми венками, поражающие своими размерами святилища с этим вычерченным пальцем скрещением “хи” и “ро”, которое даже ребёнку по силам нарисовать.

Раб тем временем опустился на колени, склонил перед буквами свою дикую голову с железным обручем на шее и принялся бормотать, вначале шёпотом, но затем все слышнее и громче.

— *Славьте Господа, — шептал Феликс, — ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев: ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа: ибо вовек милость Его. Из тесноты воззвал я к Господу — и услышал меня, и на просторное место вывел меня Господь. Господь за меня — не устрашусь: что сделает мне человек? Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их; обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их; окружили меня, как пчёлы, и угасли, как огонь в терне: именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь; Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников: десница Господня творит силу!*<sup>123</sup>

И когда он произнёс слова о деснице Господа, сараюшка вдруг начала наполняться благоуханием, какого Киприан прежде не чувствовал никогда и мог различить в нём лишь некоторые известные ему запахи: лимона, корня калгана, корицы и масла розового. Других он просто не знал, но были они настолько чарующими, действительно божественными, что от запахов

этих сердце само собой вдруг наполнялось нездешней, неземной радостью. А слова, произносимые рабом, как и ароматы эти, были наполнены неведомыми прежде, подчас неясными смыслами, которые порождали в сердце отрока больше вопросов, нежели ответов, но несли незримую уверенность и силу в каждом стихе.

А раб продолжал молитву:

— Десница Господня высока, десница Господня творит силу! Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа; праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: это — от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня. Бог — Господь, и осиял нас; вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника<sup>24</sup>.

Всего лишь несколько минут назад, когда тёмная сараюшка начала наполняться чудесным благоуханием, отрок решил, что запахи эти исходят от масла в бедной глиняной лампадке, однако по окончании чтения заметил, что душистое масло, словно испарина на человеческом челе, выступило на самих камнях сараюшки, на том самом месте, где выведена хризма. Тяжёлые капли уже и стекали по скрещенным буквам вниз. Закончив пеалом, Феликс притронулся к влаге, собрав на пальцы несколько капель, и сразу же прикоснулся ими ко лбу отрока.

В жизни своей, ещё не долгой, ведал и даже творил Киприан чудеса куда как более впечатляющие вроде понимания голосов животных и птиц, извлечения огня и исцеления страждущих, однако совсем простое благоухание хризмы и произносимые при этом слова отчего-то пробудили в нём удивительные, прежде не знакомые чувства, казались ему теперь не менее, а быть может, и более удивительными, чем всё, что он испытывал прежде, соприкасаясь с миром божественным. Но самое удивительное заключалось в том, что слова эти и чудеса творил не жрец, не священник, но одноглазый раб со стигмами и железным обручем на шее.

Спать улеглись тут же, на охапках сухой пряной травы, под трепетный танец огонька в бедной лампаде.

И снилась отроку пустошь. Выжженная, мёртвая земля, что столетиями не рожала ничего, кроме песка и раскиданных повсюду камней. Солнце испепеляло. Но сам он словно не чувствовал его жара. Брёл по пустоши всё дальше и дальше без цели и смысла к ускользающему горизонту, покуда не заметил вдали нечто сверкающее, величественное. Мраморный исполин высотой не меньше *плевфра*<sup>25</sup>, казалось, подпирал плечами расплавленное небо. Его открытые доспехами голени, грудь, предплечья, римский шлем были украшены имперскими символами. В правой руке — короткий меч, в левой — штандарт с козерогом IV Скифского легиона. Морщинистое лицо исполина взирало с состраданием и надменностью. Это было лицо нового римского императора *restitutor libertatis*<sup>26</sup> Деция Траяна, чьи изображения уже всюду чеканили на монетах. Мраморный исполин был настолько велик, что Киприану пришлось запрокинуть голову и прикрыть от слепящего солнца глаза, чтобы взглянуть в его величественный лик и не ослепнуть. Да только тогда и заметить, что на плечо исполина опустился невесть откуда взывшийся снежный голубь — совсем крохотный и едва различимый в адском этом маре. И лишь только он опустился, лишь ударил едва слабым своим клювом по мраморному плечу, тонкая паутина трещины пробежала сперва по плечу, а затем и по спине, по затылку и лицу императора. И вдруг захрустело, заскрежетало, и исполин принялся рушиться мраморной пылью, крошевом, сколами. Пришлось отроку в спешке бежать, чтобы с безопасного расстояния заворожённо наблюдать за крушением: вот штандарт IV Скифского легиона превратился в груды камней, и правая рука отвалилась, и голова со стоном рухнула вниз, подлюмилась, завалилась нога, а вскоре и всё тело, вздымая тучи песка, медленно повалилось на землю, превращая несокрушимый

образ имперского исполина в скучную пустынную пыль и камни. Точно такие же, что попирали сейчас ногами и сам отрок. И кто скажет, что это не были останки исполинов ушедших эпох?

Пробудился он до рассвета. Сизый ответ занимающегося утра медленно втекал сквозь единственное крохотное оконце. Раб ещё спал. Чтобы не будить его, Киприан тихонько выбрался из пастушьего убежища, умылся в ручье и уже совсем один, без ослика, которого оставил рабу в благодарность за кров, продолжил свой путь к Олимпу. Пройти оставалось совсем немного.

## **Кондак 2**

От художества волшебного обратився, богомудре, к познанию Божественному, показался еси миру врач мудрейший, исцеления даруя чествующим тя, Киприане, со Иустиною, с неюже молися человеколюбцу Владыце спасти души наша, поющих: Аллилуиа.

## **Икос 2**

Разум несовершенен к разумению истины Божественныя имея, в ослеплении языческом сущу, бесовские хитрости изучая, усердно трудился еси. Но уразумев, яко боятся Креста Господня, немощи демонския познал еси, и отврагився служения лукаваго, во Храм Господень притекл еси, сего ради зовем ти: Радуйся, хитрости демонския изучивый; Радуйся, прелести служения его обличивый. Радуйся, змия лукаваго посрамивый; Радуйся, мудрых мира сего мудрейший. Радуйся, разумнейших разумнейший; Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## **4. Шадринск (Курганская область). 30 мая 1982 года**

Весь день над городом парило, а ближе к вечеру ливанул дождь. Хоть и летний, тёплый, но какой-то муторный. Транспортный Ан-12, предназначенный воинским начальством для того, чтобы таскать на войну живых солдатиков, а в обратную сторону возвращать в гробах их истерзанные тела, тяжело выплывал из низких туч с выпущенными шасси, изготовившись к приземлению на взлётно-посадочную полосу учебного аэродрома.

Покуда борт тормозил, выплёскивая из-под шасси облака водяной пыли, пока сбрасывал обороты двигателей да выруливал с глухим гулом на определённую для него диспетчерами стоянку, Сашка стоял между матерью с одной стороны и военкомом Осокиным — с другой. Водитель военкома татарин Равиль держал над ними большой нейлоновый зонт с бабочками, но вода всё равно струилась Сашке на брюки, матери — на чёрный платок. А когда со скрежетом отворились аппарели грузового отсека, Осокин велел Равилю оставаться с родственниками, а сам, забавно перескакивая через лужи, двинулся к самолету. Саша пошёл следом.

После того как сожжённое тело полковника привезли в Баграм, оно два дня пребывало в приспособленном под морг авиационном ангаре, где на стеллажах, как на нарах в бараке, лежали мужчины без различия званий и чинов — такими, какими их произвела на свет мама. Только убитые. Обкурённая похоронная команда из прибалтов в резиновых фартуках и таких же чёрных рукавицах срезала с трупов негодную, кровью напитанную одежду, стаскивала бронжилеты, каски, берцы, кое-как мыла из чёрного шланга, регулируя пальцем напор и направление струи; опознанных записывали в журнал, присваивая помимо фамилии и имени порядковый номер, который затем помечали ещё и на двух бирках: на ноге и на шее. На неопознанных дожидались информации из частей, порой тоже путаной и неточной, отчего подчас отправляли на родину под чужими фамилиями совсем других сыновей. Иногда и опознавать было нечего. Руки, ноги, головы, тела без голов — эти останки поступали в морг регулярно. Их даже не обмывали. И если принадлежность того или иного фрагмента всё же удавалось каким-то чудом установить, цинковый гроб такого бойца становился намного легче. Две ночи лежал полковник рядом с таким вот безымянным солдатиком, у которого

фугасом напрочь снесло голову, зато оставило на плече синюю наколку ОКСВО, город призыва — Абакан и имя девушки — Настя на груди под остановавшимся сердцем. В ангаре было прохладно, однако медицинское начальство всё равно старалось побыстрее оформить и сбавить трупы в Союз. Во-первых, чтобы не портились от жары, а во-вторых, чтоб освобождались места для новых.

Провожали полковника, как это и было положено для героически павших командиров, с соблюдением воинского ритуала. С выносом знамени, пальбой в воздух, прощальной речью генерала перед выстроившимися в почётном строю эскадрильями и соединениями. Цинковый гроб с телом командира запяли на деревянном верстаке позади морга, уложили его в дощатый ящик, написали поверх досок имя и фамилию. И чуть ниже — “не вскрывать”. Несли двухсоткилограммовую домовину к самолёту восемь срочников под строгим присмотром Витьки Харитонов, вызвавшегося сопровождать полковника в последний путь до самого дома. Вчера он складывал в чемодан небогатое полковничье добро: фотографии, зубную щётку, одеколон, несколько рубашек, тренировочный костюм, шлёпанцы, трусы, носки с дыркой на большом пальце. Пока бродил по модулю, открывая в поисках имущества ящики и шкафы, кошка Муля сжалась в клубок на платяном шкафу и наблюдала с тревогой за Витькой, которого хоть и знала, но не понимала, почему он появился в их доме один, без хозяина, и что теперь ищет. Но стоило тому отворить дверь, соскочила стремглав со шкафа и бросилась наутёк. Больше её никто не видел.

Витька летел вместе с гробом полковника сначала до аэродрома “Ташкент восточный”, где их перегрузили на другой борт, что отправится теперь со скорбной своей ношей по России. Пить начали уже в Ташкенте, перед тем наполнив деревянные ящики из-под помидоров водкою, лепёшками, изюмом и десятью кружками до слюны благоухающей “краковской”. После перегрузки в компании с полковником оказались мёртвый танкист в звании лейтенанта, мёртвый сержант — наводчик миномёта — да трое мальчишек без званий и почестей. Лейтенанта и сержанта, награждённых за свои подвиги боевыми медалями, сопровождали два довольных неожиданным отпуском прапорщика, чьим предназначением было поведать семье павших героев о славной их кончине, выпить за помин души и насладиться, хоть и временно, радостями гражданского бытия. Рядовые солдаты, поскольку одного из них убило на третий день службы осколочным фугасом, а двое других были зарезаны и брошены моджахедами со вспоротыми животами возле дукана, куда ребятишки пришли купить халвы, а стало быть, никакого воинского подвига свершить не успели, отправились домой безо всяких почестей.

Всю дорогу от Ташкента пили водку, закусывая колбасой и кишмишем. Тостов не говорили. Да и что там говорить, если и так всё понятно: не картошку везём, покойников. Каждый думал, как будет оправдываться перед матерями, женами и детьми. Как выдержит бабий вой и стиснутые до синевы мужицкие кулаки, готовые разорвать тех, кому доверили они своих мальчиков. Из всех сопровождающих только один прапорщик уже проходил через тяжкое это испытание. Он и молчал больше остальных. И больше остальных напирал на стакан. Но водка не брала.

Когда Саша с военкомом поднялись по аппарели на борт, в грузовом отсеке густо воняло перегаром и фиалковым запахом мертвечины. Офицеры коротко козырнули, передали Осокину грузовые накладные, военный билет полковника, его паспорт, орденскую книжку, чемодан с вещами. Указали на ящик. Но даже шестерым мужикам с тяжеленным гробом весом в два центнера не совладать. Военком кликнул татарина. Скалой опустился на Сашкино плечо отцовский гроб. Неподъёмным бременем. Он и не знал, что отец был таким тяжёлым. И гробов цинковых не таскал прежде. Каждый шаг словно ударом кувалды загонял в Сашкино сердце новые, незнакомые прежде чувства, что смывают напрочь из человеческой души детские его мечты и радости, ломают нутро и превращают в мужчину. Первая любовь, первая смерть — они навсегда. Дождь барабанил по деревянному ящику размахистом, крепко, будто хотел пробудить полковника из небытия. Парные капли,

напитанные запахом озона и свежей струганой древесины, скатывались Сашке за шиворот, но он не замечал. Точно такие же капли стекали по его лицу. Но эти были солонья. Пахли “Огнями Москвы”.

Мать уткнулась лицом в ящик, и мокрая процессия остановилась, как по команде. И ждала, покуда эта женщина в чёрном крепе на голове, прикрывающем пряди дурно крашенных волос, в стоптанных влево туфлях с тусклой хромированной пряжкой, в платье иссиня-чёрном из крепдешина, навоетя вволю, осядет прямо в лужу перед гробом, так что некому будет её поднять, покуда Сашка не оставит отца, доверяя его тяжесть другим, а на себя принимая теперь тяжесть матери. Так они и шли вопреки всем траурным церемониям: впереди мать с сыном. Вслед за ними — отцовский гроб.

Упивав его в грузовик, прапорщики вернулись на борт допивать водку. Полковника повезли в Дом офицеров. Прощаться.

По прошествии многих лет Сашка помнил всю эту сутолоку и суету возле отцовского гроба, словно во мгле. Знакомых, но больше незнакомых мужчин в лётной форме и при медалях. Военный оркестр, что давил из сердца медью труб бесконечные слёзы. Пустые, неуместные речи, в которых ни разу не прозвучало название чужой страны, а уж тем более — слов о войне. Караул курсантов строевой роты, замерших скульптурно по обе стороны постаamenta. Венки из пластиковых роз и хризантем. Подушечки с отцовскими наградами. Его фуражка — поверх цинковой глади. Сашка пытался представить отца мёртвым в гробу. И представить не мог. Ему мнились теперь какие-то обрывки воспоминаний, словно неумело склеенная киноплёнка: вот папка сперва подбрасывает его прямо к солнцу, и солнце вдруг затмевает отца, и сердце уходит в пятки. А потом вдруг шоколадный эклер на блюде, с которого стекает на накрахмаленную до хруста скатерть тонкая струйка тающего шоколада. Отец не велел есть эклер до обеда. Запах горелых шасси его бомбардировщика, на котором отец вылетал в тренировочные полёты. Там, над землёй, высилась могучая, как крепость, величественная, как сказочный дракон, боевая машина. Но Сашка мог коснуться только шасси. Вдыхать их гуттаперчевый запах. Много позже отец несколько раз поднимал его в кабину бомбардировщика. Позволял даже взяться за штурвал, потянуть его на себя. Через фонарь кабины Сашка видел исчерченную шасси бетонку аэродрома, прозрачное небо над головой и, чувствуя запах “Шипра” на отцовской щёке, верил, что когда-нибудь непременно взлетит вместе с ним в это небо. А то вдруг мерещился ему жаркий дух кипарисовых ягод, магнолиевый цвет Сухума, где они всей семьёй пили кофе на набережной. Пожилой грузин со щёткой прокуренных жёлтых усов топил медную джезву в мелком раскалённом песке. Та вскипала кофейной пеной. Пузырилась, сочилась восточным духом. К кофе подавали жареный арахис и фундук. Взрослым — “цинандали” в ледяной бутылки с испариной. Или вот ещё — Второй концерт Рахманинова в исполнении Рихтера, с которым в их дом приходила совсем иная, мудрая и величавая жизнь из русского прошлого, мерцание православных крестов на куполах заколоченных ныне церквей, медленный ход великих рек, вечная мерзлота, безмолвие северных океанов.

Всё это никак не вязалось с тем, что видел он перед собой. И только чёрно-белое фото отца с траурной лентой по краю, только фамилия на чёрных лентах венков свидетельствовали о его возможной кончине. Тела не было. Не было фарфорового лба, сложенных на груди ладоней, носков ботинок, остро выпирающих из-под савана. Он даже умер порядочно. Умер так, чтоб не видели. Чтоб до конца жизни тешила себя родня тщетной надеждой: может, не он? Может, кто-то другой?

Мамины слёзы в какое-то мгновение высохли. Видать, всё, что захлестывало душу, копилось, наполнило её теперь пониманием, что это навсегда, что это не изменить, не поправить. Невыразимая сердечная тоска, словно ядовитая ртуть, вызревала в ней уже без обычного бабьего выплеска, без стонов и слёз, обернувшись тревожным оцепенением, граничащим с помешательством. Сашка обнял маму за плечи, прислонился головой, полагая, что простая сыновья близость выведет её из оцепенения, однако она продолжала каменеть

на казённом клубном стуле, ни взглядом, ни малейшим вздохом не отвечая на сыновние прикосновения.

Мать прожила с мужем двадцать пять лет, из которых все четверть века была совершенно счастлива. Лишь однажды, в зените их брака, она усомнилась в своём выборе. И то всего на несколько дней, когда, перебирая его вещи после командировки в Севастополь, заметила на парадной рубашке карминовый след губной помады и едва ощутимый запах измены. Ни слова не говоря, она искромсала рубашку кухонным ножом в ключья прямо у него на глазах, предупредив, что в другой раз на рубашку размениваться не станет. Этого оказалось достаточно, чтобы одёжка полковника впредь ничем другим, кроме авиационного бензина, не пахла.

Двадцать пять лет эта не шибко образованная, даже слегка глуповатая, но притом совершенно искренняя, по-телячьи доверчивая и сердцем незлопамятная женщина ожидала чёрного дня. Его предсказала лохматая, дурно пахнущая цыганка Нина, что обитала в ту осень на привокзальной площади её родного сонного городка. Девочка возвращалась из школы, и Нина вдруг перегородила ей путь растопыренными, в перстнях самоварного золота пальцами. “Вдовушка идёт! — прокричала цыганка. — Вдовушка идёт! Считай до двадцати пяти!” Непонятные слова скоро забылись. И вспомнились вновь на другой день после свадьбы, когда пророчество Нины привиделось ей во сне и приобрело совсем иной, понятный и страшный смысл. Двадцать пять лет. Вдовушка.

Военный лётчик мог погибнуть когда угодно. Но все предшествующие годы она, свято веря предсказанию Нины, расставалась с ним без всякого страха. И лишь когда наступил год двадцать пятый, каждый его вылет, каждый день она начала ощущать как последний. Особенно после отправки полковника на войну. Она внутренне как-то смирилась с тем, что не дождётся его живым. Но и этот год миновал. Господь Всемогущий даровал за её смирение ещё почти десять месяцев веры в ошибочность цыганских предсказаний.

Ни муж, ни сын не знали, что носила она в своём сердце все эти годы. И как она эти годы жила. А если бы и узнали, всё равно б не поверили, что такое возможно: четверть века хранить молчание.

Когда шарканье и пустые слова возле гроба иссякли, под узорчатыми сводами сталинского ампира зависла тягостная тишина. Военком Осокин, взявший на себя тяжкие, но необходимые обязанности распорядителя похорон, мягким шагом приблизился к вдове, склонился почтительно, извещая о том, что пришло время проститься и отправляться на кладбище.

У гроба её вновь прорвало. Не чувствуя близости мужа, не имея возможности коснуться дорогого лица, она лила слёзы прямо на цинк, гладила его непрестанно рукой и даже несколько раз ударилась в отчаянии лбом. И гроб отозвался на ее удары гулким металлическим эхом.

Сашка тоже прижался к цинку после того, как от него, наконец, оттащили маму. Но не услышал и не почувствовал ничего, кроме приятной прохлады металла. Он думал, что тоже заплачет. Но слёзы не шли. И сердце не рвалось в ключья. Сердце его, как ни странно, наполнилось гордостью и пониманием того, что вот теперь и настало время отмщения за отцовскую смерть. Что отец уже не сможет его отговорить. И все поймут. Все, кроме матери.

На районном кладбище, утыканном фанерными и бетонными пирамидами со звёздами на оконечнике, реже — крестами православными, ещё реже — мусульманскими полумесяцами, царил тишина и мерзость запустения, оставленная горожанами на могилах собственных предков. Недавно тут отмечалась родительская суббота. Горожане толпились на кладбище целыми семьями, с сумками, набитыми варёными яйцами, курицами, магазинными ватрушками да самолепными пирожками с зелёным луком. Везли и водку. Расположившись на родных могилах, сперва прибирались, очищали холмики от сорной травы, зловредных одуванчиков и осоки. Прибравшись, украшали их оранжерейными гвоздиками. Раскладывали провиант и водку на помин души. Кто побогаче, на специально возводимых для поминок столиках, а кто

попроще, так и прямо на сырой земле. Надирались скорёхонько. Принимались драть горло жалостливыми, а иной раз и похабными песнями, лить за-подалье слёзы о прощении. Порой мужики и бабы, неясно с какой только радости, пускались на могилах в пляс, утрамбовывая и попирая землю и сам холмик разухабистой, дикой скачкой. Иные и падали тут же, оглашая окрестные участки пьяным раскатистым храпом.

Но был на местном кладбище, естественно, и особый участок, где хоронили людей почитаемых, совершивших для города особое благодеяние или хотя бы занимавших важную должность вроде судьи или начальника тюрьмы, или руководителя телефонной станции. Здесь и земелька не столь заболочена, местами появляется песок, и ёлочки с голубым отливом. И на могилах не пляшут. Именно здесь, под покровом старых елей, нашёл свой последний приют сгоревший полковник. Земля тут была и вправду пуховая, лёгкая, так что могильщики засыпали гроб в считанные минуты, накидали поверх холма елового лапника, уложили венки и отсекли половинки стеблей гвоздик, чтобы окрестные цыганки вновь не пустили их в товарооборот. Установили фото. По правую руку от полковника располагалась могила ветерана Великой Отечественной войны, освобождавшего заключенных концлагеря “Освенцим”, а по правую — директора городского рынка, скончавшегося от инфаркта два года тому назад. Но между ними — еще землицы на метр с небольшим. Их попросила у города вдовушка. Конечно же, для себя.

Поминки устроили в офицерской столовой училища. Обычно для подобных случаев сдвигали вместе с десяток пластиковых столов, ставили несколько десятков убогих стульев, исполненных из стальных труб, фанеры да дерматина яростного бордового цвета. Извлекали со склада не постиранные, со следами прежних пиршеств скатерти, посуду с потускневшим никелем, тарелки — в целом пригодные, но часто и с отколотыми краями и трещинами. Офицерский общепит хоть и снабжался получше курсантского, а тем более солдатского, однако ж испокон веков считался затратой не приоритетной. Официантки Зоя и Милка — в крахмальных передничках по случаю скопления начальства, с улыбками дежурными на раскрашенных алым цветом губах — тащили с кухни салат “Столичный” с большим количеством консервированного горошка, вареной моркови, яиц, лука, докторской колбасы, приправленный несколькими банками майонеза; волокли, конечно, селёдку под шубой в марганцевых разводах по кремовой заливке все того же провансаля; доставали из-под полы и жирную балтийскую селёдку без шубы, употребляемую тут с большим удовольствием, что называется, *au naturel*; извлекались из электрической топки глубокой промышленной печи противни с пирогами — капустным, рыбным с треской, с курицей и несколько сладких к чаю — с малиновой да вишневой начинкою; бурлили в пятидесятилитровом баке пять сотен пельменей, что Милка с Зоей и с поварихой Альфиёй Хазратовой рубили, месили и лепили, почитай, всю ночь. Кутью, блины с киселём, конечно, тоже сгоношили как чин почитания традиций предков, да только про традиции эти и про чин поминовения никто из собравшихся, само собой, не знал. Семнадцатую кафизму и девяностый псалом из Псалтыри не читали, перед трапезой не крестились. Да и простая мысль о том, что погибшего за Родину русского воина хорошо бы по православному обычаю отпеть, тем паче что, по некоторым данным, тот был в детстве в православной вере крещён, никому отчего-то в голову не пришла. А если и пришла, то не задержалась. Может, оттого, что были они советскими людьми, чья общность не предполагала национальности и вероисповедания?

А уж коли расставались с человеком без надлежащего в таких случаях уважения, то и поминки от пьянки мало чем отличались. Поначалу, разумеется, выставили перед портретом погибшего полнехонький стакан с водкой, укрытый ломтем чёрного хлеба, словно и он участник этого попойща. Молча, не чокаясь, со скорбными выражениями на физиономиях, опрокинули внутрь “беленькой”. Не по рюмочке, а по стаканчику стограммовому, что отшибал через минуту и ясные мысли, и правильный говор, наполнил советскую

душу героизмом, откровенностью, невероятной ненавистью и любовью. Через час уже и чокались вовсю. Драли нещадно глотку народным творчеством. И похабные анекдоты, позабыв и про вдову, и про покойника, травили.

Боевой офицер, а через несколько недель майор авиации Витя Харитонов надрался одним из первых, и поскольку компанью ему составлял военком Осокин, то совсем скоро оба начали объяснять сыну, какого отца тот потерял.

— Ты ваще знаш, чё он был за чеж? — вопрошал Харитонов Сашку. — Не-а! Ничё ты не знаш. Скала! Чилавечицца! Знаш, как он энтих “духов” метелил?! Пёрднуть боялись! Не-а, таких командиров уж не-е-ет!

— Вы должны помнить, Саша, — вторил ему чуть более осознанно военком. — Ваш отец — герой! Настоящий! Не плачьте о нем! Он этого не любил.

Да тот и не плакал. Он с интересом пока что смотрел на этих мужчин, с одним из которых полковник провёл последние минуты и часы своей жизни. Делил хлеб. Отдавал приказы. Пил водку. Убивал. Они нравились ему своей простотой и пьяной откровенностью. Он верил, что ребята эти — соль советской земли со всеми её пороками и бедами, горестями и трагедиями, среди которых главная, конечно, нынешняя необъявленная война, о которой возможно толковать разве что на таких вот поминках по погибшим воинам, да и то после доброй порции анестезии.

И вот ребята эти, с трудом ворочая языком, теперь рассказывали Сашке про то, как каждый день гибнут бойцы, а враг — коварен и беспощаден, но мы с нашим-то боевым опытом, что переняли от дедов и отцов, с нашей-то огневой мощью их непременно добьём, запечатаем в эти долбаные скалы.

Ещё в училище Сашка написал два рапорта с просьбой отправить его штурманом в Афганистан. По окончании училища — ещё два. Коварно проравшавшаяся в его плевру палочка Коха, впрочем, уже через несколько месяцев прервала его карьеру в ВВС. И даже хлопоты полковника не смогли изменить решения медицинской комиссии. “На войне не только лётчики воюют, — успокоил по телефону отец, — а из тебя добрый авианаводчик выйдет. Они нам здесь ох, как нужны! Буду хлопотать”. Но не успел. Запроса на Сашку так и не пришло. Харитонов про запрос тоже ничего не знал. Но подтвердил: на всю нашу сороковую армию авианаводчиков не больше, быть может, пятидесяти. Мотыляются по всем операциям. От Кандагара до Кундуза, от Герата до Хоста.

Ближе к вечеру, когда офицерскую столовую полнило густое мужицкое толковище, несвязные речи, рой насекомых, учуввших сладость растекающейся ягодной начинки и отбросов человеческого стола, когда водочный перегар и злой дым болгарских сигарет заволокли столовую густым смрадным туманом, а первые бойцы, среди которых, как ни странно, оказался и военком Осокин, уже рухнули лицом на столы, Витька Харитонов чуть было не устроил настоящую дуэль с водителем военкома Равилем, обвинив татарина в коллаборационизме и трусости.

— Су-у-ука! — орал Витька так, словно выходил на угол атаки вражьего каравана, вдобавок сжимая в одной руке вилку, а в другой великолепный чувствительный тесак, выполненный из рессорной стали и хранимый им в голенище сапога на всякий пожарный, вроде этого, случай. — Су-у-ука тылавая-а, — заходился лётчик, — крови-и не нюх-а-а-ал ищо-о! Щас ты, су-у-ука, нахлебашься!!!

Шатаясь, падая и вновь поднимаясь, Витька всё пытался догнать и зарезать татарина, который в свои двадцать лет на войну не пошёл, возит на машине военкомовскую жопу, а вместо него гибнут другие ребята. Может, тоже татары.

Равиль, которого не пустили на войну по той причине, что он у матери единственный кормилец, был, по счастью, трезв и никаких претензий морального, политического и религиозного характера к пьяному капитану не имел. Зато шупленький этот паренёк имел взрослый разряд по боксу. Это и позволило ему в считанные секунды обезвредить агрессора, конфисковать оружие и ненадолго вырубить Витю коротким ударом в челюсть, от которого



без пяти минут майор грохнулся оземь и захрапел глубоким богатырским сном. Случись иначе, дошло бы, не дай бог, до кровопролития, не видать Вите новой звёздочки, а быть может, и в каземат упекли. Такое с ветеранами на гражданке подчас случалось.

Завершились поминки зажигательными страданиями в исполнении Зои и Милки, в свободное от службы на кухне время подвизавшимися в народной самодеятельности. По просьбе господ офицеров девушки исполнили дуэтом с притонами, прихлопами и визгом фривольные частушки, самой приличной из которых была про комсомольскую стройку БАМ. “Приезжай ко мне на БАМ, — утешала офицеров Милка, — я тебе на рельсах дам”.

Она и дала вместе с Зоей в тот же вечер в подсобке, допивая со знакомыми прапорщиками оставшуюся с поминок водку.

Всю-то ноченьку ворочался Сашка, выслушивая за стенкой поначалу надрывные, а потом словно бы скулящие стоны матери, искапал ей пузырёк валерьянки да ещё корвалолола. Часто выходил в одних трусах на балкон спалить сигарету. И не одну. Глотал воду прямо из носика чайника со свистком. И ледяной грушевый компот из холодильника. Думал и вспоминал. Вспоминал и думал.

Пока родители были молоды и занимались больше обустройством собственной жизни, нежели зачатым впопыхах между переездами из гарнизона в гарнизон мальчиком, тот большую часть года проводил у деда с бабкой в несусветной глуши, в деревне Киселиха Шенкурского района Архангельской области. Сашкин дед, охотник-промысловик Леонид Фёдорович, в прежние-то времена план по белке, кунице, хорям и бобру исполнял с большим довесом, имя его звучало на производственных собраниях с придыханием, а уж грамот, значков всяких — не счесть. Была даже одна медалька, удостоверявшая, что её обладатель — передовик девятой пятилетки. По окрестным с Киселихой чащобам понаставлены были у Леонида Фёдоровича ловушки, капканы и удавки, которые необходимо было вовремя настроить да проверить потом на предмет добычи. Вот и бродил он по лесам не днями — неделями, свежую зверя прямо на месте, снаряжая капканы его же, зверя, требухой, а ценную шкурку укладывая в сидор. Государству советскому на продажу.

Супруга его и соратник пожизненный, к удивлению, носила точно такое же имя и отчество, только в женском исполнении. Звали её Леонида Фёдоровна. Лучшего специалиста по засолке, зачистке от мездры, выделке звериных шкурок до состояния высших стандартов потребкооперации на двести вёрст не сыскать. Вот и отправлялись к ней охотнички на поклон. С денежкой в кармане.

Мёртвые звери и птицы, таким образом, окружали Сашку с сопливых годов, когда дед тащил из тайги, помимо шкурок, ещё и битых зайцев, кабанчиков, глухарей, тетеревов. А уж рябков — без счёту. Так что стреляной, окоченевшей дичи ребёнок не боялся. И не жалел её даже.

Когда внуку исполнилось лет семь, дед решил приучать Сашку к охоте. На случай такой у него даже ружьёцо имелось: полученный в награду за заслуги перед Родиной ИЖ-18 шестьдесят пятого года выпуска и тридцать второго калибра. Ружьишко это Фёдорович прежде использовал на рябчика или белку, лично снаряжал под него патроны, но вот время пришло, и внучку оно в самый раз сгодилось. Пока шли по лесу, дед объяснял Сашке, как правильно выцелить, дышать, как требуется на охоте прятаться, подмечать, башкой крутить. Несколько раз Сашка бахнул разминки ради по порожней бутылке. И не попал ни разу.

Дед метров, может, за сто приметил белку в широкоплечей кроне древней осины. Велел внуку прижать хвост и не двигаться. И, ни на мгновение не спуская глаз со зверька, сторожко, медленным ходом двинулся к осине. Сашка — следом за дедом. Редкий, но разлапистый ельничек прикрывал их сверху, и белка не замечала охотников, подбирающихся к ней всё ближе. Она даже соскочила на несколько ветвей пониже, подставляясь прямо под выстрел рыжим, с пепельным подшерстком боком. Сашка поднял ружьё.

Прицелился и спустил курок в перерыве между биением сердца, как учил его дедушка. Грохнул выстрел. Белка дернулась неуклюже и рухнула вниз. Когда Сашка подбежал к зверушке, она была ещё жива. Дергалась всеми четырьмя лапками, будто убежать хотела. Сердечко её колотилось под пальцами Сашки бешено, чёрные бусинки глаз стекленели, а из приоткрытого рта сочилась на руки и на штаны мальчика густая бордовая кровь. И тут ему сделалось худо. Он отбросил мёртвую белку, бросил ружьё и, обливаясь слезами, не видя и не слыша возмущённых окриков деда, стремглав помчался в сторону дома. Прочь из этого леса. Прочь от смерти, которую он прежде только наблюдал, но теперь впервые сотворил собственными руками. Сам убил живое существо. Детская, неиспоганенная его душа плакала и страдала, и сам он вместе с нею страдал и плакал, не понимая отчего, но только чувствуя, что произошло нечто непоправимое, то, что навсегда изменит и мальчика, и весь его внутренний мир, сделает его совсем иным, лишит его целомудрия и невинности пред страшным этим и непонятным тёмным миром. Слёзы его то высыхали, то вновь катились солёной влагой по щекам и шее. И не было им конца.

Целый день он не разговаривал с дедом, и бабка не смогла его растормошить. Не чищенное после того единственного выстрела ружьё так и осталось стоять за шкафом. Дед с ним охотиться больше не стал. Только ворчал время от времени с возмущением и непониманием: “Што за народ пошёл?! Нежный!”

Сверстники Сашкины деревенские к семи-то годам уже всюю толковали промеж собой на матерном языке, бились в кровь, защищая свою ли, семейную честь и имя, а некоторые и курили краденные у отцов и дедов папиросы. Только вот Сашка, хоть и рос с самого, можно сказать, младенчества с ними, науки эти осваивать словно стеснялся. Его можно было чаще застать со старинной книжкой в руках, нежели возле речки, где рыбалила хариусов, плескалась в студёной реке Паденьге местная детвора, или увлечённо вращающим колёсико настройки приёмника “Спидола”, открывающего ему далёкие города и страны, незнакомые языки и людей, отсюда, из Киселихи, конечно, не видимых, но живущих и мыслящих, говорящих ему о чём-то, на земле этой огромной происходящем. А то, бывало, прижмётся спиной к тёплой бревенчатой стене тёмного дедовского дома и всё смотрит вдаль на угасающий свет дня, всё думает о чём-то своём, вовсе, должно быть, не детском.

Поначалу родители хотели отправить Сашку в первый класс деревенской школы, до которой из Киселихи шлёпать не более километров двух, да только, как ни упрашивала Леонида Фёдоровна, парня туда не приняли. Мальчик оказался прописан не то чтобы в другом селении, но даже в области другой. А главное, учить его было в сельской школе уже и нечему. Саша бегло читал, писал родителям письма печатными буквами, складывал, вычитал и умножал до ста. Пришлось ему жить в деревне ещё один год, а на следующий перебраться в город. С тех пор он в Киселихе не бывал и деда с бабкой не видел. На все вопросы о стариках всякий раз получал от матери и отца уклончивые ответы. Мол, всё хорошо. Следующим летом поедешь. Лишь когда Сашке исполнилось двенадцать, мать рассказала ему, что дедушка с бабушкой умерли. А когда тому исполнилось четырнадцать, сообщила, наконец, полную правду. Зимой того года, когда Сашка покинул Киселиху, дед пропал в тайге без вести. Искали его почти месяц не только силами промысловиков, заготовителей леса, но и с милицией. Да так и не нашли. Исчез Леонид Фёдорович из этого мира, словно его и не было. А в конце февраля повесилась от одиночества Леонида Фёдоровна. Труп её, белый от инея, обнаружен был случайно почтальоном, доставившим ей очередное послание от родни. Дом Сашкиного детства заколотили досками. И оставили без призора.

Школьная жизнь, которую Сашка осваивал экстерном, перескакивая из класса в класс скорее обычного и оттого не имея друзей и приятелей, пронеслась для него легко и как-то до странности беззаботно. По окончании десятого класса он имел серебряную медаль и комсомольскую характеристику, позволяющую ему поступать в самые престижные университеты СССР. Но он

выбрал училище, готовившее штурманов для боевой авиации. То самое, что оканчивал в своё время отец.

Близость к отцу, если угодно, безусловное ему подчинение и послушание были той самой незримой чертой Сашкиного характера, что выработывались годами, прежде всего, конечно, под непреклонным воздействием матери, которая, словно верный адепт, развивала и подтверждала при каждом удобном случае догму отцовской непогрешимости. “Всё, что мы имеем с тобой, — то и дело внушала мать, — исключительно благодаря папе. Его таланту, трудолюбию, уму. Если бы не он, жили бы до сих пор в Киселихе. И кем бы ты стал, ещё не известно. Может, даже пьяницей”. Сашка понимал, что не стал бы пьяницей, даже если бы всю жизнь прожил со стариками в деревне, где сверстники его с совсем малых лет действительно полюбили сперва пивко, а затем и горькую. Сашке это дело вовсе не нравилось. Однако во всем остальном ему приходилось с матерью соглашаться. Не будь отца, жизнь их деревенская промелькнула бы подобно жизни лесных пичуг: хоть и свободно, и с песней, да без особой цели.

Сам отец разговоров на эту тему не вёл. Будучи человеком в третьем поколении военным, он и общение с сыном свёл к привычным для него приказаниям и отчётам об их исполнении. Начиналось всё как будто даже не всерьёз со слов: “Подъём!” — вместо: “Доброе утро, сынок!” — и целеуказания сдать биологию на отлично. Впоследствии же этот стиль незаметным образом проник и в более интимные области их отношений. Увольнительная до девяти. Обед — тридцать минут. Отбой в десять. Зарядка во дворе на турнике и зимой, и летом. Доклад о лётчиках-комсомольцах. Участие в первомайской демонстрации. Спартакиада народов СССР. Любое ослушание, любое неповиновение отцовскому приказу становились причиной тяжёлого и угрюмого молчания, словно не вечерняя зарядка пропущена, а сорвано наступление на Берлин. Сашка и сам понимал, что полувойсковая организация его подростковой жизни исключала проникновение в неё всевозможной дури, гарантировала тот самый результат, которого он в неполные шестнадцать лет уже добился; однако же, и как в любом подрастающем организме, мальчишеском тем более, подобная муштра вызывала в нём внутренний протест и желание самоутвердиться. В седьмом классе он принял самостоятельно учить испанский язык, повесил на стену портрет Че Гевары и флаг движения “26 июля”, известив родителей, что после окончания средней школы поступит в спецшколу ГРУ, где готовят для партизанской войны в Латинской Америке. В восьмом, увлечшись движением хиппи, отпустил волосы до плеч, булавкой низвёл до состояния бахромы концы югославских “техасов” и прилепил рядом с Че чёрно-белую фотографию Джими Хендрикса, который теперь визжал и стонал в его комнате из катушечной “Яузы” вместе с песнями “Роллинг Стоунз” и “Дип Пёрпл”. В девятом закурил. А в десятом увлёкся идеями левого анархо-синдикализма, зачитываясь трудами Бакунина и Прудона. Вся эта чужь родительского понимания не трещала. За курение был бит отцовским ремнём. А за анархо-синдикализм подвергнут месячному презрению и лишён летнего отпуска в Пицунде.

Суровый отцовский надзор и воинский порядок в семье, впрочем, естественным образом облегчил его существование в училище. Казарма не пугала его, как большинство очутившихся тут сразу же после школы домашних ребят. Её порядки, правила и уставы были Сашке понятны и давно изучены. Так что следующий этап его короткой пока что жизни в Челябинском высшем военном командном училище штурманов, а в сокращённом виде ЧВА-КУШ, протекал просто и без особых проблем. Тем более что некоторые из преподавателей почтенного возраста ещё помнили его отца, следили за его штурманскими победами и дивились, что отпрыск, быть может, даже грамотнее и смекалистее отца, с честью несёт семейное имя.

За пять лет Сашка научился управляться с навигационными системами любых советских боевых самолётов, планировать и рассчитывать различные способы и виды бомбардировок, знать, снаряжать для боя эти самые авиационные бомбы, включая бомбу ядерную. Нестарые дядьки, ветераны Великой Отечественной войны, научили его тактике воздушной стрельбы, а еврей

Рапорт — сложнейшей математической выкладке, позволяющей по одной таблице, даже без приборов целеуказания, рассчитать угол атаки и скорость фугаса до точки взрыва.

Но главное, Сашку научили летать. Полёт — это ни с чем не сравнимое чувство абсолютной тишины и безбрежной свободы, когда ты не слышишь ни звука двигателя, ни звуков мира, расстилающегося под тобой, но только песнь своего сердца. Его ликование. И даже отвратный запах резины, перемешанный с запахом талька в кислородной маске, не мешает твоему счастью. И твоей силе, повинуюсь которой боевая машина то падает камнем вниз, то вращается бочкой, то мчится, сверкая серебристыми крыльями с алой звездой, напрямиком в стратосферу, туда, где и до космоса — рукой подать. Во время одного из таких учебных полётов двигатель и вовсе угас. Всего на мгновение, когда божественная высота, чистота и тишина охватили всё существо молодого пилота до самой крохотной клеточки. Страх не было. Только абсолютная уверенность в Божием промысле, который не допустит его гибели в этой первозданной, ангельской лазури. Громыхнув выхлопом, двигатель вновь запустился и, оставляя позади себя ватный след конденсата, повёл машину на плановое снижение. Но то мгновение между жизнью и смертью, та абсолютная вера в спасение поселились в душе Сашки навсегда.

А на третьем курсе началась война. Отец отправился в первую командировку ещё в декабре семьдесят девятого. Но скоро вернулся. Играл желваками в ответ на вопросы жены и сына. Говорил мало. Раскрылся едва-едва лишь на дне рождения Сашки, уронив в себя прежде несколько рюмок водки за семейным столом. Запалил сигарету. “Не рвись туда, Саня, — проговорил между глубокими затяжками, — это глупая война. Мы её обязательно проиграем”. А через месяц вновь на войну собрался. Теперь уже навсегда. Сашка запомнил тот весенний день отчего-то до самых мелких деталей. Бетонка взлётной полосы парила после дождя. А над бетонкой кружились стаи золотистых бронзовок — красивых, иссиня-смоляных с металлическим зелёным отливом. Жуков манили заросли белых пионов, что высадила чья-то заботливая женская, скорее всего, рука в палисаде возле диспетчерской башни. Тяжело и гулко приземлялись они в нежную пену лепестков, бултыхались в ней, собирая на крылья, на брюхо и лапки сладкую пыльцу, ароматный нектар.

Обок полосы уже переминались, дымили сигаретами несколько офицеров высоких авиационных званий и разных профессий, собранных Родиной и полковником для формирования будущих частей, эскадрилий и полков 34-го авиационного корпуса 40-й армии. Офицеры травили анекдоты. Смеялись и улыбались беспечно, словно собирались в отпуск на Крымское побережье. Выдавали их только большие дорожные чемоданы. И летняя полевая форма, в которой в отпуск обычно не ездят. И что-то во взгляде. Не страх, конечно же. Но глубинная какая-то тревога. Печаль тихая. Транспортный Ан-12 с самого утра загружали зачехлённым оборудованием спецсвязи, сложенными широкополосными антеннами, ящиками с трансиверами и ретрансляторами. Лавки в грузовом отсеке предназначались для офицеров, оставалось ещё несколько кубов свободного пространства для их чемоданов. Предчувствуя, быть может, грядущую беду, мать на аэродром не поехала. На заднем сиденье чёрной отцовской “Волги” Сашка сидел один, пытаясь поймать взгляд отца в зеркале заднего обзора. Но отец на него не глядел. И по прибытии сразу же отправился к отъезжающим. Вспомнил о сыне за пять минут до вылета. Подбежал суетливо. Обнял. Расцеловал троекратно по-русски. А затем в первый и последний раз сказал ему то, чего прежде не говорил ни разу. “Храни тебя Господь!” — произнёс отец вполголоса. Отец улыбался, но тело его под рубахой источало запах тревоги. Сашка чувствовал этот запах и улыбаться в ответ не мог. В носу и в глазах его защипало, и слёзы навернулись мгновенно. Он хотел что-то ответить отцу. Пожелать ему остаться в живых. Вернуться домой как можно скорее. Поберечь себя. Но вместо этого пролетел какую-то глупость. “Привези джинсы”, — сказал Сашка сквозь слёзы. Отец кивнул и, придерживая рукой фуражку, побежал к самолёту.

Майские жуки всё ещё кружились над раскалённым бетоном взлётно-посадочной полосы, когда транспортный самолёт, рассекая воздух и жуков могучими лопастями, тяжело оторвался от земли, оставляя после себя сотни мёртвых насекомых и неодолимое чувство печали.

Окончил он ЧВАКУШ хоть и без красного диплома, которого Сашку лишили на пятом курсе за драку на танцах с молодым и самоуверенным преподавателем научного коммунизма, однако со специальностью “штурман бомбардировочной авиации” и направлением в Туркестанский военный округ, который он как отличник имел право выбрать самостоятельно. Ведь именно отсюда — самый короткий путь на войну.

О туберкулёзе Сашка узнал на медкомиссии в Ташкенте. И тут же был отправлен обратно домой с убийственным приговором о негодности к штурманской службе. Ещё из Ташкента несколько раз звонил отцу в Кабул. Советовал на предвзятость военных медиков, на жестокость судьбы, умолял употребить свои связи, да только полковник велел новослепленному лейтенанту возвращаться в распоряжение матери и ждать решения о работе авианавдчиком. Но Сашка его так и не дождался.

Проворочался Сашка без сна в раздумьях тягостных до самой зорьки. И лишь только запердели выхлопными газами первые автобусы, облачился в офицерский мундир и отправился в военкомат.

Военком Осокин мучился похмельем. Он даже, грешным делом, хотел по пути на службу оздоровиться бутылочкой “Жигулёвского” из гастронома, однако, опасаясь, что этим не ограничится, решил освежаться крепким чаем. Его-то, набурявленного до состояния настоящего чифира, и потреблял военком из стакана с мельхиоровым подстаканником с изображением космического корабля “Восток”, когда в кабинет вошёл Сашка.

— Товарищ майор, — отчеканил твёрдо последний свой аргумент, — снова принёс рапорт. Хочу отомстить за смерть отца.

— Да на тебя ещё на прошлой неделе запрос пришёл, — поднялся из-за стола лысый и низенький военком. — Только я тебе со всей этой суматохой сказать позабыл. Собирайся. В распоряжение штаба Сороковой армии.

## 5. Олимп. В год консульства императора Деция Траяна II и Веттия Грата (250 год)

*Jam nocte Titan dubius expulse redit  
et nube maestum squalida exoritur jubar,  
lumenque flamma triste luctifica gerens  
prospiciet avida peste solatas domos,  
stragemque quam nox fecit ostendet dies.  
Quisquamne regno gaudet? o fallax bonum,  
quantum malorum fronte quam blanda tegis!  
ut alta ventos semper excipiunt juga  
rupemque saxis vasta dirimentem freta  
quamvis quieti verberat fluctus maris,  
imperia sic excelsa Fortunae obja-cent<sup>27</sup>.*

Эти, как и многие иные строки из “Эдипа”, Киприан вызубрил наизусть, узнав о том, что отправится на Олимп во служение сивилле. Сенека, наставник Нерона, стоик, выдающийся имперский драматург и не менее известный скряга, бездарно окончивший жизнь вынужденным самоубийством, ещё сто лет назад рассказал миру об этой удивительной женщине. И вот теперь она совсем рядом, где-то здесь, на одной из уединённых полян у подножия священной горы.

Олимп порастил Киприана не столько своим природным могуществом, укрытыми облаками, а кое-где и снегом вершинами, сколько необъяснимым магическим притяжением, которое он не мог понять и объяснить, но от которого сердце трепетало от страха и восхищения. Именно здесь обитают боги! Именно здесь земля, скалы, ручьи и деревья пропитаны их божественным

прикосновением, их дыханием напоены. В каждом, даже едва приметном звуке слышится их властный голос. Но, несмотря на всю святость, места эти казались пустынными, дикими. И вскоре отрок понял, почему. Человек столь ничтожен, настолько слаб порочностью самого существа, что одним лишь присутствием своим оскорбляет божественную идиллию. Он и сам почувствовал это, приближаясь к Олимпу.

Как и в трагедии Сенеки, рассвет над священной горой занимался нерешительно, робко. Унылые лучи солнца, что едва пробивались сквозь движущиеся кудлатые тучи, подсвечивали неярко то вершину, то склон, то широкие кроны горных сосен, то пропешину лужайки между соснами. Но вот эта умиротворённость, утренний полумрак, за которым ещё мерещился мрак ночной зловещий, словно шептали тебе: беги отсюда, куда глаза глядят. Прочь!

Он бы, может, так и поступил в другой раз, если б не был так юн и дерзновенен. И именно дерзновенность эта да ещё письмо от понтифика влекли его всё дальше вглубь леса по узкой звериной тропе.

Первые признаки присутствия сивиллы он почувствовал возле чистого ручья, весело журчавшего по камням рядом с тропой. В стужённых его струях нежила пупырчатое серое тело крупная лесная жаба, но, стоило мальчику приблизиться к ней, вдруг встрепенулась, фыркнула фонтаном серебряных брызг и, обернувшись пёстрой дерябой, вспорхнула на ветвистый, затянутый мхом древний вяз. И теперь смотрела на мальчика внимательно чёрной ягодкой глаза. Через несколько стадиев путь ему перегородило разлапистое поваленное дерево таких невероятных размеров, что он невольно задумался, как ему его обойти. Корявые, усеянные множеством острых колючек ветви решительно не подпускали к стволу, а сам ствол, что по-стариковски низко склонился над тропой, своим циклопическим весом грозил раздавить каждого, кто хотя бы попытается под ним проскользнуть. Возможно, со взрослым человеком так бы оно и случилось, но стройный отрок всё же отыскал лаз между сломанной веткой с зазубринами и мшистыми корнями, извернулся, пролез, с трепетом чувствуя, как крошится на лицо и за шиворот труха и сыплется вертлявые долгоносики.

А за этой преградой к убежищу сивиллы его уже и новая подстерегала. Зловонная лужа, что с одной стороны щетинилась густыми зарослями камышей, скрывая под собой, возможно, и куда более тошную трясины, с другой стороны омывала скалу отвесную, по которой на ту сторону тоже не перебраться. Ступив в лужу босыми ногами, Киприан тут же почувствовал её опасность: скользкий, уходящий круто берег, прикосновения невидимых существ, должно быть, пиявок или тритонов, густая слизь, но главное — отвратительный запах, замешанный и на испражнениях диких животных, на разлагающейся их плоти и на ядовитых соках олеандра, что цветущими нежно-розовыми ветвями склонялся низко над топью. Но отрок, хоть и остановился на мгновение, осторожно нащупывая ступнёй скользкий спуск в трясины, сходил в неё всё глубже, ни на миг не оставляя молитв своему заступнику Аполлону. И даже когда смрадная жижа подступила к его рту и ноздрям, когда, повинувшись животному инстинкту самосохранения, он оттолкнулся от дна и поплыл вперёд, с трудом раздвигая руками тяжесть болотной жижи, даже тогда губы его просили бога о заступничестве, о тверди земной под ногами. И твердь явилась ему и подняла его из трясины — увешанного гроздьями чёрных пиявок, заляпанного грязью и гниющими листьями, воняющего подобно мертвецу, восставшему из могилы.

Хорошо, что ручьёв и источников в этих краях было в избытке.

Храм сивиллы стоял в стороне от тропы, притулившись правым боком к отвесной скале, чью вершину скрывали густые облака. Пожелтевший от времени и сырости мрамор покрылся местами изумрудными лишаями, колонны портика опутывали одеревеневшие плети дикого винограда, усики хмеля, подвижные побеги плюща. Ступени храма устилала толстым слоем палая высохшая листва и жёлтая хвоя пятисотлетней пихты, что раскинула свою могучую крону неподалёку. Бронзовый жертвенник с закопченным ликом Аполлона, по всей видимости, уже много лет не знал приношений: затканый

тенётами лесных пауков, покрылся изумрудной патиной с подпалинами запёкшейся крови и жира. Казалось, храм давно покинут, заброшен, но вот среди сухих листьев — глиняная плошка родниковой воды. Едва тронутая. Вот карминовая шерстяная шаль на спинке стула. Вот несколько египетских папирусов и стопки пергамской бумаги, испещрённой текстами на неведомых языках. Вот женские сандалии. Не ветхие, почти не ношенные, с яркими медными колечками на кожаных шнурках. Или кувшин с молоком. Свежим. Утренней дойки. Только хозяйки всех этих предметов нигде не видать. И не слышать даже. Лишь пересвист и криканье желтоперой иволги в листве.

В переводе с греческого имя Манто означало “вещая”. Легенды утверждали, что она произошла на свет от слепого прорицателя Тиресия, который познал и женское, и мужское бытие после того, как огрел посохом совокупающихся змей. В таком случае, если верить древней легенде, матерью и отцом Манто мог быть один и тот же человек, что даже в запутанных связях греческой мифологии выглядело безнравственно и вызывающе. Сама Манто вещала в Фивах и Дельфах, затем, выйдя замуж за Ракия, родила от него сына Мопса, а впоследствии Тисифону и Амфилоха от предводителя похода Эпигонов безумного Алкмеона. Случилось всё это несколько сотен лет назад, так что возраст Манто посчитать было просто невозможно. Да и кому важен возраст сивиллы?

Сивилла Манто предстала пред отроком в багровом сиянии заката древней старухой с дряблой кожей, седыми патлами, собранными на затылке в тугий узел, и отвисшими грудями под туникой из простой льняной ткани без всяких украшений. Глаза её, глубоко запавшие в глазницы, выцвели от слез. Пальцы, на которых поблёскивало лишь одно золотое кольцо в виде заглывающей собственный хвост змеи, иссохли до костей, и, казалось, хрустнут, распадутся при малейшем движении. Манто вперилась в отрока немигающим взглядом, будто уснула. Но потом он услышал её на удивление чистый, почти девичий голос:

— Не утруждай себя объяснениями, мальчик, ибо Антиохийский понтифик мне всё про тебя рассказал во сне. Его письмо я прочту завтра. За храмом — хижина. На столе — молоко и хлеб. На лежанке — козья шкура, чтобы укрыться. Поговорим завтра.

Падая в бездонную пучину сна, Киприан словно слышал хор театральных голосов, пророчащих с небес недалекое его будущее:

*Agmina campos cognata tenent,  
dignaque jacto semine proles,  
uno aetatem permensa die,  
post Luciferi nata meatus  
ante Hesperios occidit ortus*<sup>28</sup>.

Но назавтра, придя с рассветом в святилище, он не нашёл там старухи. Вместо неё на мраморном ложе, устланном козьей шкурой, возлежала чудесная девочка не старше двенадцати лет — свежая, как миндальный цвет, юная, как нынешняя заря. Золотые локоны её волос тяжёлыми прядями спускались по обнажённым плечам, стыдливо укрывая нераспустившиеся бутоны грудей, а по шее скатывалась чистая и искрящаяся, как бриллиант, капелька её невинного пота. Под неотступным взглядом отрока девочка открыла полные васильков глаза и проговорила чистым голосом вчерашней сивиллы:

— Каждое утро я просыпаюсь в образе ребёнка и каждый вечер засыпаю старухой. Скоро ты к этому привыкнешь. Но сердце твоё каждый раз будет изнывать от любви и разрываться от жалости. Заплатишь сразу за всё в конце срока. Таковы условия обучения.

Не стыдясь своей наготы, она не сразу прикрыла её легким хитоном и лишь тогда взяла из рук Киприана письмо. И прочла его безо всякого интереса. А затем ещё несколько минут молча разглядывала отрока. Лицо её не отражало никаких чувств.

— Хочу предупредить, — заговорила наконец Манто, — ты, конечно, станешь понтификом. Более того, однажды ты даже станешь святым. Ценою

собственной жизни. Готов ли ты пожертвовать ею? Я знаю, что для мальчика это сложный вопрос. И потому не тороплю с ответом. Подумай хорошенько. Ты в любой момент можешь остановиться. И отказаться от такой жертвы.

— Боги привели меня сюда, — ответил, не раздумывая, отрок, — им и решать мою судьбу. На всё их воля.

— Ну смотри, — улыбнулась Манто, — я предупреждала тебя. Будет трудно.

Началось со смирения, к которому, как оказалось, Киприан был вовсе не приучен. Ему разрешалось говорить только тогда, когда его об этом попросят, не перечить и не поднимать глаз, исполнять порученное без обсуждений точно и в срок, и ещё с десятков-другой обременений, призванных не только сломить его собственную волю, но и заставить позабыть о собственном существовании. Через несколько недель он уже безропотно выносил по утрам дерьмо в отстойную яму, ухаживал за скотом — несколькими козочками и овцами в загоне, спал на земле, питался чем попало, часто даже и не хлебом, хотя у Манто и хлеба, и молока было в достатке, а найденными под столетним дубом опавшими желудями. Но, самое главное, он перестал роптать. На голод, несправедливость, жару, навозных мух, бесконечность, а иной раз и бессмысленность труда. Точно такую же рабскую участь можно было обрести в любой деревне на его родине, в Антиохии, а не в святилище мудрой сивиллы. И лишь когда он принял этот урок с благодарностью, когда гордыня раз и навсегда покинула его душу, Манто устроила ему новые испытания.

Теперь ему предстояло обучиться усердию, а с этой целью днями напролёт собирать и складывать в одну линию пададь высохшей хвои, сортировать по цвету и форме камни, что сыпались с вершин, и составлять из них разноцветные геометрические символы, обрывать и сушить на солнце таланты колдовских трав. Трудиться с рассвета, когда Манто ещё возлежала на ложе в образе малолетнего дитяти, и до поздней ночи, когда она едва передвигалась на скрюченных артритом ногах. Поручив ему то или иное задание, сивилла могла не разговаривать с Киприаном целыми неделями, что, впрочем, вовсе не означало, что она не следит за тщательностью их исполнения, убедившись в коей, готова была приказать сделать что-либо ещё, часто и вовсе бессмысленное.

Обученный смирению отрок послушно внимал очередному наказу, укрощая молитвой обжигающую волну строптивости, которая, впрочем, с каждой неделей становилась всё слабее, а к концу осени угасла совсем.

Осенью к святилищу пришла раненая волчица. Матёрый, свирепого обличья зверь с отверстой раной на правом боку возле паха приплёлся в облаке трупных мух, слетевшихся на вонь разлагающейся плоти, в совершенной слабости тела и духа. Волчица рухнула у ступеней святилища и, казалось, испустила последний вздох. Но старуха сошла к ней по ступеням, опустилась на колени, возложила на гниющую рану сухую длань.

— Моя сестра охотилась на коз прошлой ночью, — бормотала Манто едва слышно, — но не рассчитала прыжка. И рухнула в пропасть. Рана нестрашная. Затянется. Рёбра поломаны. Позвонки сместились, треснули кости таза. Ушиб печени. Сотрясение мозга... Так-так. Придётся тебе, сестра, жить с нами, пока не поправишься. А то сдохнешь.

Она убрала руку, и от одного прикосновения сивиллы рана подсохла, затянулась плёнкой и начала покрываться подшёрстком. Волчица приоткрыла глаза и, приподняв голову, покорно лизнула старушечьи руки.

Манто назвала её Лисса — в честь дочери Урана и Никты, что наполняет сердца людей бешенством и лишает их разума. Отрок помнил о ней по трагедии Еврипида, в которой могущественным чарам Лиссы не смог противостоять даже легендарный Геракл, убивший в приступе насланного безумия собственную жену и детей, покуда Афина ударом камня не повергла героя в глубокий сон.

Спали они теперь вместе: волчица и мальчик. Всё в той же хижине позади святилища. Пока зверь поправлялся и передвигался едва-едва, Манто сама приходила туда ежедневно. Накладывала руки. Смотрела, как медленно



срастаются кости, уходят гематомы, рубцуется плоть. Киприану велено было по первости поить её молоком и родниковой водой, а через несколько дней уже и кормить парной козлиной печенью, требухой, отваренной в бронзовом котелке, от которой немного, конечно, и отроку перепадало. А когда Лисса начала подниматься, начала ходить вокруг да около, он, по требованию сивиллы, кормил её тёмными шматками сырой дичины.

Со временем отрок и волчица привязались друг к другу. И не только спали рядышком, сплетая воедино прерывистые дыхания зверя и человека, но и всё глубже чувствовали друг друга, не замечая, что их отношения становятся доверительными, почти родственными.

Они вместе уходили в ближний лес, который от первого дыхания зимы сбросил наземь пестрый ковёр сухой листвы, обнажил предсмертно заострённые ветви деревьев, замедлил, а у закромки ручьёв припёк тонкой корочкой льда быстрый их бег. Здесь ещё было полно твёрдых каштанов в колючей оливковой кожуре, много спелых желудей, оранжевых плодов шиповника, которыми отрок Киприан спешил запастись на долгую зиму в горах.

Лисса была равнодушна к шиповнику. Зато проявляла естественное звериное беспокойство при первых же запахах живой плоти. Стоило неосторожной полёвке или лесной соне появиться на пороге своего убежища, как Лисса тут же замирала, втягивала носом воздух, вострила слух, определяя безошибочно по дуновению даже совсем слабого ветерка размер и запах животного, расстояние и необходимую скорость атаки. Как-то на заходе дня возле дикого лужка заметила она зайчиху, что лакомилась увядающими стрелками дикого лука. Приблизилась бесшумно, словно ступала не по сухим валежинам, а по хлопку. Бросилась. И мгновенно сломала той основание черепа. Несчастная даже взвизгнуть не успела. Сучила задней лапкой в агонии. Они разодрали тельце зайчихи клыками и пальцами, отрок стащил чулком шкуру. Ели ещё тёплое мясо. И радовались добыче.

Наблюдая за её повадками, слушая наставления волчицы, Киприан вскоре и сам выучился охоте, несмотря на то что слух его, обоняние, острота клыков не могли сравниться со звериными. С наступлением зимы, укрывшей Олимп и его предгорья снежной парчой, охотиться стало проще. Лесное и горное зверьё в поисках пропитания и свободных ото льда родников спускалось ниже в долину, оставляя за собой путаницу следов, по которым даже начинающему охотнику было легко отследить торопливый ход диких коз, заячью круговерть, тяжёлую поступь фавнов.

Одного из них, уже совсем старого и, скорее всего, смертельно простуженного, поскольку хрипел и кашлял он так, что было слышно за несколько стадиев, они выслеживали больше недели. Раз в два дня фавн спускался в долину набрать в кувшин воды из родника да запастись каштанами и высушенной падалицей диких смокв. И в тот же день возвращался к себе в пещеру, окружённую снежными сугробами и свежим навозом. У старика была чалая, с большими проплешинами шерсть на ногах, гнутые круто, с выщерблинами и крупными сколами рога, причём тот, что слева, был ещё достаточно остёр, чтобы пронзить супротивника насквозь. В остальном это был обычный старик. С коричневым лицом, испещрённым морщинами, глазами цвета остывающих углей, карбузым ртом с несколькими оставшимися резцами, натруженными руками в тёмных прожилках.

Лисса решила убить фавна не потому, что была голодна, но оттого, что волчий её инстинкт повелевал чистить предгорный мир от слабых и хворых, освобождая дорогу жизни новым поколениям зверей. Но отрок считал, что фавн более человек, чем животное, прежде всего потому, что у него есть сердце, чувства пробуждающее.

— Фавн — зверь, — не задумываясь, ответила Манто, когда они спросили её об этом. — Вы только примувайтесь к нему. Воняет старым козлом! А этот — просто чудовище! Мне ли его не знать?!

Подстерегли его отрок с волчицей тем же вечером. Сгибаясь под тяжестью глиняного кувшина в пеньковой оплётке, с мешком каштанов у пояса, фавн двигался по снежной целине медленно и устало, то и дело прикрываясь волосатой рукой от стылого, со снежной крошкой ветра. Лисса бросилась

со спины, повалила фавна на снег и несколько минут, отхаркиваясь шерстью и кровью, сжимала, давила молодыми челюстями немощное горло, покуда у фавна сперва не порвалась трахея, а затем разошлись шейные позвонки. Вслед за этим волчица разорвала его утробу и принялась рвать тёплую ещё печень, тянуть и разматывать синюшное сплетение кишок, торопясь добраться до самого лакомого органа фавна — его сердца. Киприан смотрел на пиршество Лиссы с некоторой грустью и сожалением и, сколько она ни предлагала, сколько ни упрашивала, так и не решился подойти к мёртвому фавну и разделить с ней кровавую эту трапезу. Несколько раз горло стискивало спазмами рвоты, и он утирал лицо снегом, чтобы гадливое чувство внутри него улеглось.

Сожрав фавново сердце, Лисса неспешно поднялась с кровавого, подтаявшего снега и, недовольно рыча, подошла к отроку. Взглянула в глаза так, словно сама сделалась оборотнем, — совсем по-людски. С презрением и брезгливостью. Ощерилась, обнажая сахарные клыки в ошметках мяса и сукровице, рывкнула прямо в лицо, изрыгая из пасти отвратительное зловоние, и, не оглядываясь более на друга, побрела прочь.

— Помнишь девятую песнь “Илиады”? — неожиданно спросила его юная Манто утром следующего дня, когда он пришёл вынести горшок с ее ночной мочой.

— Не очень, — признался отрок.

— Я напому, — молвила девочка вслед за этим и процитировала Гомера: “И Гектор, ужасною силой кичаяся, Буйно свирепствует, крепкий на Зевса; в ничто он вмняет Смертных и самых богов, обладаемый бешенством страшным”.

Так вот. Ты не выдержал испытания *бешенством страшным*. Отправляйся вновь к фавну. И тащи его сюда. Я голодна.

Когда отрок подошёл к месту вчерашней расправы, над трупом уже всю усердствовали вороны и рыжий лис рвал окоченевшую на морозе плоть. Даже повернуть мертвеца получилось не сразу, а уж о том, чтобы волочь его почти десять стадиев через долину, через ущелье к святилищу, не было и речи. Эх, был бы хоть мул захудалый. И он начал молить богов о муле. Но боги молчали в ответ. Только вороны и галки возмущённо кричали — быть может, то и были голоса возмущённых богов. Да крупными хлопьями сыпал снег.

Отправляясь в дорогу, Киприан, как обычно, прихватил с собой острый тесак, болтающийся на поясе, заплечный мешок с верёвками и бурдюк воды. И всё пригодилось. До остроты бритвенной заточенным тесаком он принялся рубить плоть фавна и складывать в мешок. Ведь никто не просил притащить его целиком. Вначале отрубил шерстяные, со стёртыми копытами ноги по самые колени и руки по локти. Пальцы рук, и без того скрюченные подагрой, цеплялись за снег, оставляя на нём и в душе Киприана глубокие поскрёбы. Оттащив останки к святилищу, он вновь и вновь возвращался к телу, отрубал от него всё новые и новые части, покуда на снегу не осталась одна голова. Она-то и оказалась самой тяжёлой. И в мешок помещалась не до конца, выпирая из него огромными стёсанными рогами. Вороны и галки провожали и встречали отрока зычными проклятиями, наперебой стараясь выдрать и проглотить побольше дармового харча. Когда же он поволок последнее, помчался вослед, ударяя крыльями по лицу, вцепляясь когтями в волосы, в шерсть мёртвой головы.

Зима наступила и в сердце отрока. И душа его окоченела, словно труп фавна. Это он почувствовал не сразу. Кромсать человечью плоть с каждым разом становилось всё привычнее, а под конец даже нестрашно. Оказалось, рубил по себе, разрезая и сокрушая сухожилия сочувствия, артерии сострадания, нервные окончания любви.

Возле груды останков, до которых Киприан добрался уже в ночи, поджидали его сгорбленная Манто с Лиссой. Он швырнул к их ногам голову фавна с чёрными, выеденными вороньём глазницами, и обе ухмыльнулись довольно, а волчица смиренно приблизилась и лизнула его в лицо.

Той же ночью мясо сварили. И дружно пожирали человечину.

### Кондак 3

Сила Вышняго просветила естъ ум твой, Киприане, егда не имеяше успеха в чародействе Аглаида ко Иустине, бесы рекли ти: “Мы Креста боимся и силу теряем, егда Иустина молитися имать”. Он же рече им: “Аще вы Креста боитесь, то колико Распятый на Кресте страшнее вам естъ”, и познав слабость бесовскую, вшед в храм Господень пояше со всеми верными: Аллилуиа.

### Икос 3

Имеяй ум, просвещенный силою свыше, Киприан шедше к епископу, прося крещения еси, но той, убоявся, отказал ему. Святыи же иде в храм Господень и стояще на Литургии, не вышел естъ из храма, егда диакон возгласил: “Оглашенные, изыдите”. “Не выйду из храма, — рече Киприан ко епископу, — дондеже не окрестиши мя”. Мы же, радующеся твоему вразумлению, поем ти таковая: Радуйся, силою свыше просвещенный; Радуйся, Господом вразумленный. Радуйся, силу Креста познавый. Радуйся, демонов от себя отгнавый. Радуйся, жизнь свою исправивый; Радуйся, стопы в Церковь направивый. Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## 6. Кандагар. 5 сентября 1982 года

Словно вырезанная из нефрита, ящерка устроилась на камне, не мигая и не поворачивая головы, даже когда он дымил поблизости табачищем. И когда вернулся из штаба 40-й армии часа через полтора, она возлежала всё так же остолбенело, не шелохнувшись. “Странное место, — подумал Сашка, — здесь даже время течёт иначе. То, что час для меня, для неё — всего лишь мгновение. Похоже, Восток измеряет бытие столетиями”.

В штабе армии пожилой майор с прокуренными до желтизны седыми усами с радостью определил Сашку в Кандагарское ГБУ<sup>29</sup>, в которое входило всего лишь четверо офицеров-авианаводчиков и ощущался явный недобор кадров. “Не старикам же по горам лазать”, — посетовал на возраст и немощь майор, подписывая необходимые документы на вещевое, продовольственное и денежное довольствие.

Помимо офицерских ботинок, предназначенных, видимо, для победного парада, смены кальсон, х/б и прочего обмундирования, вновь прибывшему офицеру выдали на складе тяжеленный бронезилет, радиостанцию с аккумуляторами — весом не меньше двадцати кило, пистолет системы Макарова, автомат Калашникова да немного к ним боеприпасов. Иди, мол, парень, Родину защищать. В офицерском модуле, представлявшем собой обычный барак советской архитектуры с двумя входами, общим коридором и таким же общим клозетом, старослужащие понятным языком объяснили Сашке, что передвигаться в горах лучше в кроссовках, радиостанцию можно не беречь, поскольку из Союза должны прислать новые, облегчённые, бронезилет оставить в капёрке, а вместо него запастись разгрузкой. Пакистанской или китайской. И на следующий день “лифчик” такой ему подогнали. А в ответ на наивные вопросы о войне: “Ну чё там? Как?” — матёрые авианаводчики объяснили предельно доходчиво: “Вперёд не суйся. И поглядывай по сторонам, за какой камень можно упасть. А начнут стрелять, сразу туда. И не высовывайся”. Парни шутили. Но Сашка об этом тогда не знал.

Через два дня с КП штаба армии приказ: выдвигаться курсом на Кандагар. На боевые. Там, в лётном гарнизоне, и собиралась теперь Кандагарская ГБУ, третий интернационал: двое русских, один хохол и два татарина. Считавшие себя дальними потомками хана-воителя Уду-Мухаммеда Ринат и Загир росточка были невысокого, крепенькие, с мускулистыми короткими ляжками, упрямым татарским взглядом и норовом отчаянным. Ринат — из нефтяной столицы Бугульмы. Загир — из ясачных татар деревни Биюрган, упрятавшей на берегах Нижнекамского водохранилища. Второй уж год, как воевали они в чужой стране. Оба были контужены, оба представлены к правительственным наградам.

Славик происходил из семьи харьковской интеллигенции: папа — режиссёр детского театра, мама — в том же театре травести, что и в сорок лет играла на сцене пионеров-героев. На спор поступил в авиационное училище. На спор его закончил. И на спор уехал в Афганистан. Теперь, как утверждают, тоже на спор наводит авиацию на караваны с Панджшерским лазуритом. Славик был ранен осколком в щёку, отчего его интеллигентный образ приобрёл боевой и даже зловещий оттенок. Но сестрички-ханумки почему-то любили целовать его именно в шрам с розовой кожей.

Валерка, происхождением из таёжной деревушки Партизан Приморского края, поступил в авиационное училище не на спор, а по идейному убеждению, поскольку сизмальства мечтал полететь на Луну, которая над деревней Партизан особенно ярка и громадна, однако в отряд космонавтов не подошёл, и старшего лейтенанта отправили в космос Афганистана. Потомственный таёжный промысловик, обученный к тому же высшему пилотажу, математике боя и навигации, теперь шастал на боевые без продыху, ожидая от Родины, что та, быть может, заметит его подвиги, контузии и ранения и всё же отправит после войны на Луну.

В тот день, когда Сашка прибыл в Кандагар, “лунатику” было худо. С вечерней почтой он получил из Уссурийска письмо от невесты Светланы, которая сообщала ему, что она уже не его невеста, а жена прапорщика Фадеева, охраняющего колонию строгого режима. Ещё и фотокарточку прислала — в пенной фате до плеч, в платье гиппоровом обок упакованного в костюм фабрики “Большевичка” неандертальца. Всю-то ночь старший лейтенант, прошедший не одну боевую операцию, выдавший и гибель товарищей, и во множестве смерть врагов, скрежетал зубами на нарах. И даже, кажется, плакал. А утром, прихватив фотокарточку и автомат с полным рожком, отправился в одиночестве на окраину гарнизона. Прикрепив фотокарточку невесты изолентой на ржавую бочку из-под авиационного топлива, отошёл на несколько шагов и принялся поливать бывшую невесту и нынешнего её мужа автоматным свинцом. Жал на спусковой крючок, пока обойма не кончилась, а мелкие обрывки прежней любви не разлетелись прахом на калёном ветру пустыни.

Да и в комнатке душной, уставленной с обеих сторон железными нарами в два яруса, с подслеповатой сорокаваттной лампочкой под фанерным потолком, за которым без умолку копошились насекомые, с фотографиями сиястых девок, вырезанных аккуратно из иноземных журналов и украшавших теперь стены мужицкой этой берлоги, даже здесь царил гнетущее напряжение, за которым, как правило, следует мордобой или истерика. Потому что ведь у каждого — женщина. И где она, с кем она, что думает и что творит — никому не известно.

Сашкина довольная физиономия, новенькая пакистанская разгрузка, снаряжённая и гранатами, и запасными “рожками”, ботиночки офицерские, для парада надраенные, “хэбэшка” складская, утюженная — всё это само по себе стало событием, отвлекающим и от утреннего расстрела, и от предстоящей операции, и от операции прошедшей, когда почти двое суток работали по данным дивизионной разведки, приметившей в “зелёнке” скопление моджахедов. Новенький в мужицкой компании — всегда событие, всегда повод для веселья, приколов, всплеска тестостерона, который в русском народе называют куда понятнее: моча в голову.

Но и Сашку как человека из семьи потомственных военных, помыкавшегося по солдатским казармам вдоволь, на мякине, как говорится, не проведёшь. Все эти шуточки ему и самому хорошо известны. Он и сам кого хочешь надует. Пацаны это тут же скумекали. И дурь уняли. Принялись толковать по существу. Толковища эти затянулись далеко за полночь, а потом ещё и на другой день перебрались, и на третий, меняя расположение, собеседников, одни из которых трудились в штабе, другие — в звеньях и эскадрильях, третьи — даже в бане офицерской, сложенной из подручного стройматериала и с авиационным топливным баком вместо душа.

В отличие от сослуживцев своих опытных, Сашка имел за плечами ещё и вести часов учебных вылетов, что позволяло ему оценивать будущую свою работу не только с земли, но и с воздуха.

Служба будущая, впрочем, даже при этом условии после всех разговоров представлялась ему не слишком понятной. Это тебе не артиллерия какая-нибудь и уж тем более не пехота. Тут смекать нужно. Исчислять координаты обнаруженных и меняющихся целей, наводить по ним дежурную авиацию, подсветить, если дело ночью происходит, поддымить, если днём, вызвать подмогу, коли дело худо, да при всём при этом остаться для вражины не видимым и не замеченным. За хорошего авианаводчика моджахеды по сто тысяч американских долларов выдавали. А всего-то их было человек не более пятидесяти. На весь наш ограниченный контингент.

Но даже если ты снабжён навигационной линейкой НЛ-10, авиационным коллиматором, пусть и тяжелой, но рабочей радиостанцией, если за твоей спиной пять лет авиационного училища, рассказы боевых лётчиков, штабных офицеров, двух конгуженных героически татар и одного обезумевшего “лунатика”, ничто из этого не заменит тебе хотя бы одного дня всамделишной войны.

Сашка шёл на первую свою боевую операцию в настроении превосходном. Слово с самого утра хорошенько поддал. Или накурился чарса. Каждая клеточка его молодого здорового организма излучала нездешнюю, какую-то прямо космическую энергетику, неуёмную силу, которой, казалось, нет предела. Средневековые саманные дувалы, люди в бедных одеждах на дребезжащих нутром, жирно пердящих худой соляркой бурбухайках, улыбающиеся их лица не шли ни в какое сравнение с грозной силой советских войск, их артиллерией, авиацией, но, главное, с её воинами, чьи отцы и деды прошли и Великую Отечественную, и гражданскую, сплочены великой идеей, несокрушимой целью построения справедливого общества на всей земле. Объединены со всем изнывающим людом. Тем более что воюем не с народом, а с бандитами, прикормленными и снабжаемыми американской разведкой. На сутки наша армия опередила американцев. Случись иначе, хрена бы получил афганский народ вместо социализма, как убеждённо объяснял политрук.

— Запомните, дети, — приказывает комбат солдатам хриплым насмешливым голосом, — у нас в батальоне только один разбойник — я, и помощники мне не нужны. Боевая задача: совершить марш-бросок в Манджикалай. Попрошу без разгильдяйства. Пушка первого БТРа — вправо, второго — влево. Дистанция — пятьдесят метров во время движения, десять метров — на остановках. Вопросы есть? По машинам!

“Сел за руль — заступил на пост”, — гласит плакат возле КПП.

Солнышко ярое занималось в пустыне медленно и лениво, словно просыпался сонный мальчик-бача. К шести утра едва приподнялось над горизонтом, заливая и остывшую за ночь землю, и далёкие плешивые горы, и редкие кусты “зелёнки” по берегам пересохшей безымянной речушки алым и хладным багрянцем.

Мерно ревет движок БТРа, влетая свой голос в голоса других машин, что движутся теперь навстречу восходу; дымят злым табаком, добавляя его вонь к чёрным выхлопам жжёной солярки, устроившиеся на броне во избежание подрыва на фугасе бойцы, травят непристойные мужицкие анекдоты, шелестит о чём-то своём бортовая радиостанция, объединяя между собой невидимыми эфирами и этот батальон, и следящих за его продвижением штабистов, и авиацию, по первому же зову готовую подняться с земли. А две дежурные “восьмёрки”, прикрывая колонну от невидимого врага, уже барражируют неподалёку. Внутри машины, куда Сашка забрался, конечно, по неопытности и оттого, что лучшие места на броне были сразу же оккупированы “дедами”, полумрак. Свет струится сквозь узкие амбразуры да через открытые люки. Оттуда же замечает мелкую пустынную пыль, что сушит, обмётывает губы, скрипит на зубах.

— Повернувшись хлопонец до дому з Афгану, — травит рядышком приятелю анекдот вислюусый прапорщик. — Ну, ридне село все зибралося. Горилка, сало, картопля. Пиднимається голова колгоспу, та й питає: “Ну як там, Василь, усє було?” — Так як, — видповидає Василь, — идемо по вулиці на танці та й давим всіх! — Навищо давить, вони ж живи люди! — А хай нє топчуть ридну Афганщину!”

В этот самый момент броню словно сухим горохом осыпало. “К бою!” — орут с брони. Треск очередей. Латунная россыпь стреляных гильз. Кислятина горелого пороха. Визг пулемётной турели. Но вроде никого не задело даже. Бздунули маленько, и только. Прапор вислоусый даже ухом не повёл. Даже к автомату не прикоснулся. Травил теперь анекдот про чукчу, который одним ножиком засаду “духов” перекромсал, объясняя это тем, что, как и в тундре, в стране этой никого теперь не останется. Ещё через три анекдота в голове колонны что-то туго, со скрежетом жажнуло. Машины дёрнулись и остановились.

— Пидирвали, суки, ну, тепер почнетья. — резюмировал прапорщик, выбираясь из люка и пристально вглядываясь туда, где змеиным силуэтом на фоне восходящего солнца извивалось долгое тулово колонны.

Бортовая рация тем временем вещала про подрыв головного БТРа и троих раненых, сброшенных с брони взрывной волной от самопального фугаса, хоть и изготовленного для бронемашин, но, видать, худо рассчитанного — взрывом оторвало переднее колесо и народ тряхнуло маленько.

К полудню, когда мотострелковый батальон добрался, наконец, к кишлаку, указанному разведкой в качестве места средоточия двух враждующих бандформирований, выяснилось, что душманы, прочухав неладное от информаторов в наших же собственных войсках, неожиданно замирились и покинули кишлак от греха подальше. Теперь разведка чесала репу, поскольку, если бы колонна не пришла к этому злосчастному кишлаку, может, “духи” друг друга сами бы и переколошматили. Прочесали для порядка кишлак. И никого, разумеется, кроме старцев согбенных, нескольких женщин на сносях да ребятни голозадой, не обнаружили. Отвесив разведчикам в сердцах словесных, однако увесистых люлей, смекалистые военачальники повели бригаду вдогон врагу, что должен был, судя по новым данным разведки, скрываться в “зелёнке” за десяток километров отсюда. Громить врага решили с рассветом.

Пока же выбирали место для бивака посреди выветренной, высушенной до хруста земли с редкими куртинами горькой полыни и розовыми стебельками солянки, выставляли дежурное охранение, разворачивали бастионом орудия и машины, городили внутри тесно палаточное жильё, обустроивали походный быт. Кто-то сгонял до реки и приволок оттуда два сорокалитровых бидона маринки, выловленной при помощи пары ручных гранат. Вот и вызвала Сашка потрошить чёрную рыбью брюшину и варить на всех уваристую ушицу, приправленную свежей лаврушкой, с россыпью перца чёрного, картохой и головешкой. Точно, как варил её полковник лет десять тому назад, сидя с ним, пацанёнком, на берегу печальной русской речки Исеть. Разговоры за ушицей и за чайком горьким, чифиристым — они ведь долгие да томные. С мыслями, часто и не высказанными, про сродников, близких и дальних, про женщин оставленных, про жизнь и смерть, что соседствуют тут совсем близко, почти по-родственному. Про то, что кого-то, кто хлебает теперь из алюминиевой посуды сладкую рыбью юшку, завтра поволочут обратным путём в гарнизон, морщась и наблюдая, как пухнет на жаре, темнеет искалеченное его тело.

От страха ли, томившегося внутри весь этот день, от увиденного ли на мосту покойника с развороченным чревом, куда угодил неразорвавшийся НУРС, а может, и от худо прочищенной маринкиной брюшины к завершению трапезы собственное Сашкино брюхо крутило и бурлило ничуть не хуже танкового движка. Да и наружу рвалось с такой яростью, что у старшего лейтенанта ВВС словно крылья вдруг выросли, и тот буквально в считанные секунды оказался посреди чистого поля позади доблестных войск. И лишь после этого вдарил, что называется, из всех калибров.

Полоскало и несло его долго. А как прочистило, утёр “Комсомолкой” зад, рукавом — испарину со лба, натянул портки и только тут заметил светящийся зелёным взгляд, устремлённый на него прямо из душной ночи. Шакал, уверили пацаны.

К новому рубежу подбирались потемну, предполагая, быть может, застать бандитов врасплох. Однако скрежет, лязг и грохот движущегося мотострелкового батальона слышался на многие километры окрест. Так что

схоронившиеся среди тополей, зарослей разлапистого джугуна и колочек дикой ежевики моджахеды и слышали, и знали наперёд обо всех приготовлениях шурави.

Покуда миномётная рота отцепляла и устанавливала возле просёлочной дороги свои тяжёлые “васильки” и “подносы” на случай ближнего боя, покуда связисты разворачивали антенны для устойчивой связи с ротами, взводами, штабами, покуда выбирался из БТРов заспанный, матерящийся народ, выстраивался, тряс подсумками, жёг табак украдкой в кулак, кто-то и отливал тут же, на колеса боевых машин, небушко светлело тихонько, едва, словно хранило, берегло от предстоящей бойни неразумных этих солдат.

Командир батальона майор Васильев, человек малого роста, кряжистый, узловатый, с обветренным и плохо запоминающимся крестьянским лицом, с неуместной, дамской какой-то родинкой над верхней губой, стоял возле штабной машины истуканом, время от времени отдавая по радию короткие приказы ротным да взводным. Пригвоздив взглядом бесхозного наводчика, велел тому разворачивать радию для связи с авиацией и неотлучно находиться в близости.

Артподготовка из “васильков” беглым огнём по четыре мины в кассете была сокрушительной и недолгой. Кастрюльный их грохот, лязг лафетов, дальний, нарастающий гул разрывов, вздымающих в небо рваную порось, древесные ошмётки, комья серой земли и жижи, казалось, поселили во вражьих рядах ужас и смятение, расчистили безопасный путь для наших солдат. Всё, что живо было ещё недавно, испепелило раскалённым ураганом огня, вывернуло из-под земли всё, в ней глубоко упрятавшееся, разорвало в клочья, посеяв в земле этой, в каждом её клочке кислый смрад жжёного тротила. Но стоило бойцам войти под сень тополей серебристых и, то и дело оглядываясь по сторонам, пройти под ней несколько сотен метров, как эфир вдруг наполнился матом отчаяния, в котором и слов не разобрать, только вой, стон, звериный рёв да треск очередей. Засада. Плотный огонь. Настолько плотный, что, скорее всего, уже есть убитые. И будут ещё.

Сашка никогда раньше не слышал в наушниках радиции жуткой этой симфонии боя. И от воя этого о спасении, от шквалистого огня, что эхом бьёт совсем рядом, но, главное, от невозможности помочь парням, с которыми всего-то несколько часов назад хлебал уху, байками веселил, делил бушлат или просто хралел обок, от беспомощности этой самому впору было завывать.

Комбат тем временем вызывает на подмогу окружённым бойцам две роты с левого и правого флангов. Но и их встречает плотный огонь.

— Авиация! — орёт комбат Сашке. — Зови дежурных!

Два “крокодила” и так уже на подходе. Но куда их направлять, если наводчик — не с попавшими в окружение ротами, а, как распоследний бздун, возле штабной машины, под крылом комбата! И от этого на душе во сто раз гаже. Ротные в эфире голоса потём зря. Сашка — в эфир, стараясь перекричать काफीно засады:

— Пацаны, терпите! Двадцать четвёртые на подходе. Работаем вслепую. От вас — расстояние до позиций. Дымовая шапка. И закопаться. Будет жарко!

В ответ услышал, что “духи” молотят метров за триста. С краю полянки. Возле сухого тополя. Свои позиции обозначим дымом. Линеечкой навигационной тут же на коленке рассчитал боевой путь, курсе, развороты, чтобы ударить не по нашим же войскам, а немного вбок и прямехонько по врагу. Тяжёлые, трепет вселяющие “крокодилы”, увешанные ракетными блоками под каждым крылом, лупоглазными воздухозаборниками, вздрагивающей от вибрации и возбуждения грозной елдой “металлорезки” да ещё и футасами на платформах, как только заметили над деревьями струи жёлтого дыма, обозначавшие передовые позиции наших войск, тут же грузно развернули на позицию атаки. “Разрешите работать?” — слышит Сашка в эфире. “Работать разрешаю”, — отвечает с замиранием сердца, явственно понимая, что, если что-то рассчитано не так, не учтено, не сказано, если заденет кого-то из наших, а случаи такие военная история знает во множестве, русская кровушка и его мундир замарает.

Шестьдесят четыре осколочно-кумулятивные неуправляемые ракеты С-5, выпущенные с ведущего “крокодила” с пронзительным свистом и огненными всполохами, и ещё столько же с “крокодила” ведомого, всего-то за несколько секунд превратили позиции “духов” в изрыгающий столбы пыли, протуберанцы взрывов, раскалённый до состояния плазмы тартар. И не было в нём живому спасения. Острая сталь осколков, обручённая с яростью тротила, рассекала человеческую плоть, рубила стволы деревьев, рушила саманные стены укрытий, распространяя окрест смрад горелого мяса, жжёного пороха и палёных волос. Нездешний свет, метущийся огненным снопом в чистое небо и сухим ошмётком опадающий с неба вниз, словно вспарывал брюхо матушке-земле, глумился над ней по-дьявольски ожесточённо и беспощадно. И вновь. И вновь.

Вскоре всё было кончено. Опроставшиеся смертью “крокодилы” возвратились в район боевого дежурства, и сердца людей теперь наполняла неизъяснимая радость, оттого что бой закончился и в этом бою погиб кто-то другой, а тебя вновь обнесло, пощадило нечто неведомое и великое, что некоторые называют судьбой, а другие — везением и лишь считанные единицы — Господом Богом. И неважно, в конце концов, как оно называется. Важно, что ты чувствуешь кожей тепло солнца, которое быстро сушит пот на твоём лбу. И превращает его в соль. Важно, что перепуганные стрельбой дрозды и щеглы возвращаются под тень ольхи и заливаются радостным щебетом. Важно, что бескрайняя лазурь неба так же бесконечна, как твоя молодая, бессмертная жизнь. И так будет всегда.

Сашке хотелось петь. Хотелось ржать и веселиться без причины. И он улыбался довольно глупо в обнимку со своей тяжелой радиостанцией до тех пор, пока из “зелёнки” не потянулись первые бойцы.

Серой воспалённой толпой тянулись они из-под сени деревьев, падали на землю, чтобы долго, двигая кадыком, глотать тёплую воду из походных фляг, дымить злым солдатским табаком, утирать о траву выпачканные землёй и кровью ладони, глядеть в небо и долго молчать, а если и говорить, то обрывками злобных фраз.

Выносили и раненых — растерзанных и выпотрошенных мальчиков. У кого ляжку прошло. И он ковтылет теперь с кровавым пятном на портках, опираясь о плечо товарища. Другому противопехотной миной ногу отчекрижило по колено. Несут его, горемыку, санитары. А он бззит. Сам пойти хочет. Третьему и вовсе разрывной пулей в живот угодило. Лежит на носилках в забытьи. Мамку кличет. Иной вон солдатик хоть и при ногах, и при руках, с головой на плечах, только страдает, бедолага, погорше многих раненых своих товарищей. Оперением советской ракеты класса воздух-земля отсекло пареньку писюлёк с яйцами. Воет собакой, с подвизгом, не разжимая рук на кровавом пятне в мошне и никого к себе не подпуская. “Застрыли-и-ли мя, су-у-у-ука!” — воет пацан санитару, что, исхитрившись, наконец вкальвает тому в ногу прямо сквозь портки шприц промедола. А вон и знатока устного народного творчества волокут. Осколком снесло хлопцу половину черепа. Да тот, как потом пацаны рассказывали, сразу не помер. Ухватился за шкирман сражённого пулемётной очередью лейтенанта да поволок его с мозгами набекрень за поваленный ствол. Дотащил и рядом с ним за деревцем помер. А лейтенант жив. Хоть и бурлит, клопочет в пробитом лёгком кровушка, однако же цел. Таращится на перепачканный труп спасителя, на серый его мозг с прилившим ежевичным листочком и ревёт.

Нет, не от слабости духа рыдает русский солдат и не от жалости к погибшему товарищу, а от того, что душа его уже примирилась и с войной этой, и с самой смертью, погрязла в них, словно в топкой трясины, и уж больше не находит в человеческом бытии ни смысла, ни чистоты божественной благодати, но только тьму бесконечную.

Ноне, слава богу, не сорок первый и не сорок второй, когда советские военачальники во вражеских котлах не дивизии и полки варили, а целые армии, драпали на восток, а потом наступали на запад, народ не считая, мёртвых не хороня, с ранеными особо не церемонясь. Оттого их и лежит до сих пор в русской земле немерено и нечитано. Может быть, миллион. А может,



и целых два. На здешней войне — всё иначе. Мёртвых и раненых велено забирать, доставать даже с горных уступов, из ущелий глубоких выковыривать. Доставлять их в гарнизонные морги и санитарные части. А оттуда — кого грузом 200 — на Родину, кого грузом 300 — в столичный даже госпиталь. Но большинство — снова в строй. Отдавать жизнь великой и несчастной стране нашей.

Долгих тринадцать месяцев суждено Сашке топтать с этими вот и другими людьми по чужой земле. Собственным пузом, коленками, но чаще ногами, конечно, елозить по ней, проливать в неё свою кровь, пот и слёзы, от которых на любой иной земле давно бы взошли сказочные цветы, но здесь только камни, сухая соломенная трава, снег и безмолвие. С каждым боем что-то угасало внутри Сашки. Но вместо утраченного света восходила и крепла новая, неведомая ему сила. Сердце черствело. Страх уходил. Смерть не вызывала содрогания. Ему казалось, он становится старше, мудрее, обретает храбрость и мужество. Но вместе с тем где-то глубоко в сердце своём он проливал слёзы по изнасилованной душе. И слёз этих было всё меньше.

## 7. Олимп. В год консульства императора Деция Траяна II и его сына Геренния Этруска (251 год)

Сорокадневный пост, который он соблюдал по велению Манто, близился к концу. Становился строже. Если прежде ему позволялось поддерживать силы каштанами и миндалем диким, то теперь отрок довольствовался одной лишь водой и ароматом цветущих деревьев. В сладком этом мареве, где сплелась терпкая горечь черёмухи, изысканность жасминов, миндальная нежность и буйство дикой сливы, восседал он среди изумрудных полян до полудня, заклинанием пастушьего рожка созывая к себе сонмы нимф. Болтливые ручейные наяды с бледной до прозрачности кожей и волнистыми, распущенными по голым плечам русыми волосами; загорелые, гибкие телом лесные дриады с венками полевых цветов на головах и совсем уж тёмные, на абиссинок и цветом кожи, и упругостью волос похожие горные ореады. Все они кружились вокруг отрока, игриво касаясь его губами, лёгкой паутиной волос, свежестью молодых тел, разгорячённых танцем настолько, чтобы сочиться страстью и необузданной похотью. Но в полдень звуки рожка смолкали, и юные нимфы со смехом исчезали в своих черёмухах, скалах, ручьях. А Киприан возвращался к святилищу, где ожидала его верная Лисса, а с недавних пор и сама Манто, уделявшая наставлениям Киприана всё больше времени и сил. “Опять с девками этими озорничал”, — ворчала Манто, которая к полудню выглядела на сорок и норовом своим напоминала отроку его оставленную в Антиохии мать. Манто не любила нимф, считая их вздорными и низкими божеествами.

За тот год, что прожил Киприан возле святилища сивиллы, после нескольких месяцев унижения и испытаний, после двух неудачных попыток сбежать с Олимпа домой и даже кровавой схватки с волчицей, оставившей у него на предплечье и на лодыжке два розовых шрама, а у Лиссы — откушенный лоскут правого уха, после постов изнурительных, чтения сакральных книг и зубрёжки магических заклинаний, после вменённых ему в обязанность еженедельных кровавых жертвоприношений Киприан превратился, наконец, из ученика в соратника сивиллы. Но та считала, что обучение не закончится до того дня, пока отрок не научится переходить невидимую грань верхнего и нижнего миров, не получит благословения от божеств.

После полуденного сна на грубой циновке в тени цветущей смовки он вновь уходил, теперь уже вместе с волчицей, на свои ежевечерние сакральные практики.

Изыскивая с помощью Лиссы стада горных коз, он напускал на них гниль, от которой копытца несчастных воспалялись, потом слоились так, что те не могли ступить и шагу, ковыляли едва-едва, покуда не издыхали в мучениях от гангрены.

Несколько раз собирал стайки песчанок и крыс, заражая блох, обитавших в их шерсти, моровой язвой, а затем направляя покорных тварей

в ближние селения и удалённые овчарни пастухов для полного их истребления. “С таким войском я смогу покорить Карфаген!” — бахвалился отрок, проходя мимо опустевшего человеческого жилья, над которым гулко роились мухи-падальщицы.

Ясными вечерами он любил собирать грозовые тучи и, изменяя направление ветра, сталкивать между собой, извлекая из них сокрушительные разряды грома и снопы молний, от которых, казалось, очнутя и снизойдут во гнев к подножию гор сами олимпийские боги. Прихоть его, похоже, уже не знала никаких границ не только в подчинении воздушных, морских и земных тварей, но и незримых сил самого мироздания, управляющего дуновением ветра, изгибом волны, подземным дыханием. И даже низшие из богов слушали его с трепетом. Многочисленные фавны и нимфы, василиски и тритоны, звонкогласые сирены и огнедышащие химеры являлись к Киприану по первому же его зову, готовые служить и исполнять любые его, часто невинные, детские, но столь же часто и жестокие, безумные шалости. То устроит ночное пиршество с дикими и разнузданными танцами чудовищ возле костров, то скачки кентавров с дорогими призами в виде невинных нимф, то затеет постановку *Батрахомиомахии*<sup>30</sup>, в которой главные роли исполняли живые мыши, лягушки и раки. Сама Манто пришла посмотреть на это действие, устроенное неподалёку от её святилища на берегу затянутого ряской неглубокого пруда с розовыми кувшинками. И смеялась до слёз, когда царь лягушек Вздломорда утопил мышонка Крохобора.

Вот и сегодня вечером Киприан развёл огонь на самом краю величественного утёса, дабы понаблюдать за сожжением феникса, которого приволокла Лисса из зарослей орешника. Феникс ещё дышал. Затравленно колотилось его сердечко. Однако оба багровых крыла его были сломаны тяжёлыми челюстями волчицы, а из золотистого клюва струилась ниточка алой крови. Натаскав из ближней рощицы сухостоя акации, Киприан уже сложил и возжёт одним лишь дыханием жаркий костёр, в который и швырнул издыхающую птицу. Вместе с волчицей они наблюдали теперь заворожённо, как пламя опалает багряное её оперение, как она какое-то время ещё перебирает в агонии лапками, вздрагивает всем телом, но вскоре уже и не шевельнётся, испускает пар из-под лопнувшей кожи, золотистый клюв её обугливается и мало-помалу всё тело превращается в прах. Но вот ещё и косточки не все сгорели, а огонь вдруг вспыхивает золотистой вспышкой, поднимая кверху снопы искр и птичьего праха, в которых сначала призрачно, а затем все явственнее проступают черты воскресшего феникса, прекрасного и величавого. Глядя на удивительное это превращение, отрок вспомнил вдруг беглого раба Феликса, его молитвы и рассказы про Христа, который точно так же, как птица феникс, был умерщвлён и вслед за тем воскрес, оставляя в сердце каждого надежду на жизнь вечную. Но ведь и сивилла, которая проделывает эти трюки с ежедневными жизнями, и повелители Олимпа, и даже феникс, что живёт и возрождается множество раз, смерти не знают и, стало быть, вечны. Только Христос, в отличие от них, пошёл на смерть и возрождение не ради забавы. Но ради людей. Причем, по словам Феликса, людей незнатных, совсем простых. Рабов ради даже. И этого поступка Киприан никак не мог осознать. Он казался ему глупым и безрассудным.

Но то ли крохотная искорка от того чудесного воскрешения нечаянно обожгла сердце отрока, то ли дым от тлеющих акаций попал в глаза, наполнились они вдруг необъяснимо слезами, и потекли они по щекам, вызывая в душе Киприана какие-то странные, незнакомые прежде чувства. Стыдно сделалось мальчику собственной, как подумалось, слабости. Шмыгнув носом, он утёр подолом туники лицо и вытянулся на земле, положив голову на мягкий и тёплый живот волчицы. Небо над его головой было низким и бархатным. И по бархату этому, будто живая, кружилась, поворачивалась во вселенской пустоте сотканная из звёздного бисера серебристая вязь мироздания.

— Ты ещё не видел настоящего воскрешения, — расмеялась дряхлая Манто, когда тем же вечером он рассказал ей о чудесах феникса. — Завтра я тебе его покажу. Тем более что и время твоё уже пришло.

Наутро отправились в путь втроём. Долго шагали предгорьями священной горы, пока не добрались до узкой тропы, поднимающейся уступами всё

выше и дальше в заоблачную высь к вершине. Здесь благоухающие акации и дикие сливы сменялись низкими куртинами рододендронов, розовыми метёлками астильбы, голубой пенкой букашников. Но дышать становилось всё труднее, и через несколько часов изнурительного подъёма ноги Киприана едва его слушались, свинцовой тяжестью налились. Но сивилла подгоняла его без усталости, обещая скорое завершение горного перехода. Через два часа, не доходя до вершины, они свернули на другую, ещё более узкую тропку, что круто сбегала вниз по закраине отвесного ущелья, на дне которого бурлила и пенилась полноводная весенним паводком стремнина. К ней-то и спустились остаток дня, поскользываясь на насыпях, обдирая до кровавых ссадин колени, цепляясь руками за вывороченные корни сосен. Вблизи горная река оказалась ещё стремительнее и опаснее. Чистые её ледниковые воды на пути с вершины вымывали и уносили с собой мягкий известняк, гранитное и мраморное крошево, ворочали и волокли камни да валуны, оглашая всё окрест грохотом, шипеньем пены, гулом несущейся по каменному руслу воды. А над ними, прямо в теле высокой и отвесной скалы, неприступно возвышалось над стремниной древнее кладбище. Вход в каждую усыпальницу был запечатан тяжёлой плитой из туфа, на которой виднелись едва различимые орнаменты и буквы, а также круглые отверстия, похожие на те, что продавливают в речных осьпях ласточки-береговушки. Однако эти — не для птиц, но для душ, отошедших в загробное царство. Влажный туман парил над заброшенным кладбищем.

Здесь путники, наконец, остановились, примостив свой скромный бивуак у подножия двух замшелых валунов. Распалили огонь. Лисса натаскала из реки тучных форелей. Их и зажарили на ивовом пруте. Тут и ночь подступила.

В ущелье, куда едва доходил слабый свет звёздной пыли и нарождающегося месяца, ночь казалась куда темней и жутче. Даже река замедлила быстрый свой бег. Уснули птицы. Спрятался зверь. И только летучие мыши трепетали перепончатыми крыльями, перелетая из пещеры в пещеру. Оранжевый отсвет расплывчатых угольев освещал сморщенное лицо Манто и её губы, шевелящиеся шорохом заклинаний. Тонкими пальцами в золотых перстнях вынимала она из дорожного мешка горстку семян, щепоть чёрного порошка, пригоршню сухих трав, несколько прозрачных камушков. И поочередно кидала их в жар. Вскоре от улей потянуло духом камфоры и сандала. Сладкий дым поднимался всё выше и выше, пока не достиг усыпальниц. Просочился внутрь сквозь отверстия, каждое из которых сразу же откликнулось на этот аромат призрачным светом. Серебристо-ртутный, он исходил из могил сперва совсем слабо, но затем всё ярче и увереннее, наполняя ущелье десятками, а дальше и сотнями светящихся столбов. В них заметил Киприан и движение. Словно туман клубился внутри. Сотрясаясь и вздрагивая в каком-то завораживающем танце, с каждым движением всё отчётливее принимая призрачный человеческий облик. Но стоило Манто полоснуть по руке острием кинжала, чтобы в уголья скатилась тонкая струйка крови, как призраки, словно стая воронов, принялись кружиться и спускаться всё ниже к огню. Но подступиться не смели. Толпились гуртом вокруг. Переминались, вдыхая с аппетитом аромат принесённой жертвы. Бесполье их тела, принадлежавшие в земной жизни правителям, поэтам, философам, проституткам, рабам, ныне смиренно стояли бок о бок сонмом бесплотных тварей.

— *Жертва*, — послышался с горных вершин громогласный, раскатистый голос. — *Первая жертва!*

Эхом отозвался он в ущелье. Выгнал из пещер стаи летучих мышей. С грохотом обрушил несколько валунов в воды присмирившей от страха реки.

Киприан и сообразить ничего не успел, как Манто одним стремительным движением всадила кинжальную сталь по самую рукоять под лопатку лежащей возле её ног Лиссы. В последнем взгляде волчицы отразилось и удивление, и боль, и улада конца, и разочарование в жизни. От ужаса и неожиданности она не проронила ни звука. Вздохнула хрипло. И тут же испустила дух.

Вновь пришлось отроку под тяжёлым взглядом Манто исполнять отвратную роль мясника. И разделывать на сей раз верного своего друга. Всё время, пока орудовал по привычке споро и сноровисто, за спиной своей слышал чью-то тяжёлую поступь, запах серы, конского навоза, трупного тления. Одних этих запахов и звуков, этих шорохов за спиной было достаточно, чтобы лишиться рассудка. И оттого он кромсал волчью плоть, не оборачиваясь, то и дело жмуря глаза, из которых текли слёзы ужаса и отчаяния.

Сивилла тем временем, наполняя воздух вонью палёной шерсти, швыряла волчье мясо в огонь, отчего и призраки, и те, кто пришёл вслед за ними, оживились. Обступили жертвенник плотной душной толпой. Грубный голос, что прежде подал повеление к жертве, теперь прозвучал совсем близко, поведывая склониться беспрекословно. Обернувшись, Киприан в оцепенении наблюдал расступившуюся толпу, чрез которую уже двигалась прямо к нему четвёрка закованных в военные доспехи кентавров. Медленно, по-утиному переваливаясь бородавчатыми телесами, следовали за ними два циклопа. А несколько фавнов с золотыми рогами безжалостно и бесцеремонно теснили неприкаянных. Низко над землёй кружили чёрные гарпии с головами женщин. Уродливые карлики с мётлами дружно мели землю для того, чтобы другие карлики посыпали её цветами зла и листьями полыни. Лохмоты химеры со свалывшейся шерстью и скользкими извивающимися хвостами шли им вслед. Старые сфинксы с отвисшими грудями, с крыльями, сложенными за спиной, мягкой кошачьей походкой шествовали горделиво. И уж только за ними величественно катилась царственная колесница с крылатыми пегасами в упряжи, украшенная золотой пятиглавой звездой в объятиях *Уроборос*<sup>31</sup>, с инкрустациями слоновой кости, колёсами с бронзовыми спицами, главой горгоны с живыми змеями вместо волос на передке.

Колесницей управлял юноша, прекраснее которого Киприан в жизни ещё не видывал. Ржаные кудри его тяжёлыми локонами спадали на точёные, словно из мрамора, плечи. Повелительный взгляд лазоревых глаз из-под длинных ресниц излучал притяжение, пронизывал, казалось, насквозь, понимая и распознавая все скрытые помыслы, мысли сокровенные, тайные страсти. Губы его упрямо сжимались в слегка надменной улыбке. Ланиты румянились по-детски свежо. Высокий сократовский лоб венчал золотой лавр. Тело его, идеально сложенное на зависть самим олимпийцам, облегал тончайшей шерсти тога с золочёной застёжкой на плече и элегантным поясом из кожи василиска на чреслах.

— Склонись! — зашипела возмущённо старуха.

Но Киприан заворожённо смотрел на юношу, а тот на него, излучая взглядом и всем своим существом бесконечную доброту и беспредельное счастье. Растворяясь в них, позабыв внезапно про ужас и страх, отдаваясь без тени сожаления во власть божества, отрок улыбнулся смиренно. И покорно склонил голову долу.

Гробовая тишина воцарилась в ущелье. Озёрной гладью застыла, онемела река. Пламя пожирало волчье мясо в абсолютной тиши. И только бездна Вселенной доносила едва слышный шорох гибнущих в её пучине галактик.

— Вот новый Замврий, — молвил бог, — всегда готовый к послушанию и достойный общения с нами! Ставлю князем тебя по исхождению души из тела и полк даю во служение. Мужайся, усердный Киприан! Встань и сопроводжай меня, пусть все старейшины наши удивляются тебе.

Чувствуя подле себя бога, Киприан не смел поднять глаз. Даже дышал с трудом, каждой клеточкой своего существа ощущая величественное и холодное его естество. Силу его, престол его и великую власть.

Теперь бог восседал в священной задумчивости между старухой и мальчиком с растерзанным волком в ногах. Молча вынул из трупа тёплое ещё сердце. И оторвал зубами большой кусок, отчего и по губам его, по подбородку, по снежной тунике сочно брызнуло яркой кровью. Потом дал откусить старухе. И уж после неё — прямо с руки — Киприану. Тот сжал губы упрямо. Но юноша настойчиво и как-то небрежно ткнул окровавленным мясом ему в лицо. Гневно взглянул прямо в душу. И отрок покорился его повелению. Зажмурился крепко. Вкусил сердце друга. И чуть не сблевал от

отвращения. Закашлялся. Глубоко вздохнул несколько раз, освобождая гортань от спазма. И в следующее мгновение почувствовал на губах живую плоть. Раскрыв широко глаза, в ужасе увидел подле лица сморщенное лицо старухи, что впивалась со страстью и похотью в невинные и нецелованные его губы. Пронзительный вой поднялся изнутри его существа, но в то же мгновение был задушен удушливым поцелуем сивиллы. Безжалостно и властно она повалила его на камни возле костра. Разорвала на себе одежды, представ пред отроком в омерзительной старческой своей наготе: с жёлтым пергаментом дряблой кожи, сквозь которую проступали суставы и кости, свисающими безжизненно грудями с загрубевшими сосками, прогорклой воюю измождённой плоти, нечёсаными прядями седых волос, в которых угнездились волчьи блохи. Манто обхватила отрока ногами, взгромоздилась поверх него заправской амазонкой и принялась неистово скакать. Горячие волны стыда, ужаса, сладкого удовольствия нахлынули на него и сорвались в самый низ живота. Старуха пыхтела, стонала, а затем вдруг завывала, оглашая и ущелье, и Олимпийское царство, и Вселенную над нею пронзительным криком гибнущей твари. Теперь и отроку стало больно-усладно, как никогда не было прежде. Нутряная его чистота вспыхнула последний раз печальной звёздочкой. И угасла. Бурная, опустошающая душу и тело сила изверглась из него в старуху. Сознание оставило его.

Когда он очнулся, рядом с ним на камнях возлежало прелестное обнажённое дитя, в которое с рассветом превращалась сивилла. Но сегодня она была во сто крат прекраснее и свежее. Божественного юноши, отвратительной его свиты, призрачных духов не было и в помине. Приоткрыв веки, всматриваясь в отрока невинным влюблённым взглядом, девочка промолвила надтреснутым старческим голосом:

— Теперь уходи. Ты свободен.

#### **Кондак 4**

Буря помышлений одержаше тя: како прияти крещения. Взем все своя чародейския книги, святыи сложиша их на средине града и сжегл есть их, поя Богу: Аллилуиа.

#### **Икос 4**

Услышав о тебе епископ, о благом намерении во Христа обещиши, крестил тя и чтецом во храме Божиим поставил. Сего ради вопиеш ти сице: Радуйся, духов злобы победивый; Радуйся, чародейския книги поपालивый; Радуйся, христианином быти возжелавый; Радуйся, святое крещение приявый. Радуйся, епископом наставленный; Радуйся, чтецом во храме поставленный. Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

### **8. Регистан. Июль 1983 года**

Скоро год, как воюет Сашка в чужой стране. За время это шкурой задубел, мордашкой осунулся, отрастив для солидности и форса короткие ушки, которые после долгих боевых ещё и щетинкой прибавлялись по скулам. Опыта житейского да солдатского поднабрался, разбирая теперь, что к чему в человеческих и уставных отношениях на войне: в какую минуту бойца и простить нужно, а в какую — и по зубам врезать мало. В науке воинской поднаторел, да не в той, времён Отечественной и, поди, ещё гражданской войн, что втолковывали ему отставные полковники и майоры в училище, а самой что ни на есть настоящей, с помощью которой на его же глазах и от собственных его расчётов и размышлений выигрывались малые и большие сражения. Или проигрывались бездарно. Терял, как и на всякой войне, товарищей боевых и уж совсем без счёта — малознакомых ребяташек из мотострелковых, спецназовских, разведывательных частей, к которым его определяли только на время. Татарские мальчишки Ринат и Загир из Кандагарского ГБУ отправились в мир предков один за другим с разницей в неделю.

Одного завалило камнями в узком ущелье, после того как навёл туда тяжёлый бомбардировщик Ту-16 с девятитонным фугасом. Навёл, да с выходом не рассчитал. От чудовищного взрыва ущелье просто сложилось, погребая под камнями и верных, и неверных. Наводчика и не искали даже, сообщив в Бугульму, что пропал без вести. Загирку убил снайпер в ту самую минуту, когда лейтенант обозначал дымом позиции забурившихся в камыши моджахедов. Пуля угодила ему точнехонько в глаз и вышла зияющим проломом с противоположной стороны черепа, перекрутив мозги в фарш. Отправили оцинкованного Загирку в Биюрган за месяц до дембеля. За упокой души новопреставленных мусульман, почитай, целые сутки глушила Кандагарская ГБУ тёплую *кишмишевку*<sup>32</sup>, закусывая её свиной тушёнкой и, может, оттого совсем не пьянея.

Видел Сашка на войне этой поступки в высшей степени героические, когда советские солдаты и офицеры жизнь клали на спасение товарищей, не размышляя об оставленных дома детишках и жёнах, о будущем своём и человеческом предназначении. Просто рвали чеку, подпуская врага на расстояние взрыва. Просто бились до пустого магазина. До штык-ножа в рукопашной. Вытаскивали мёртвых и раненых командиров, как тот навечно памятный Сашке хохол с расколотой удалой башкой, что в последнюю свою минуту тащил и спалас чужого ему русского лейтенанта. Не ордена ради посмертного. И не оттого, что жизнь ему опостылела, хотя, может, в жизни своей был он самый последний греховодник: матерщинник, пьяница и лихоимец, да только ведь что-то проснулось в нём в последнее мгновение страшного бытия, озарило изнутри светом нездешним. Таким светом, что, спасая товарища, он сам себя спасал. Хотя и не знал об этом.

Однако же, как и на любой иной войне, которая, как известно, человеческую природу обостряет до крайностей, знал Сашка и иные проявления характера служивого люда. Знал о том, к примеру, что зловерного сержанта или прапорщика, который мордует личный состав почём зря, без всякой на то нужды унижает и глумится над пацанами, доводя их до состояния прямо одичалого, могут свои же как бы ненароком в пылу сражения нечаянно пристрелить. Всё одно спишут погибель такого изувера на боевые потери. А разбираться никто и не станет. Знал и о том, что война нынешняя, пожалуй, как-то особенно тесно сосуществует с коммерцией. И торгуют на ней всем, чем только возможно. Джинсами, жвачкой, водкой, боеприпасами, оружием, авиационным бензином, человеческим телом — живым и даже мёртвым, — разведанными боевыми операциями. Результатом такой коммерции стали набитые советским воинским имуществом лавки афганских дукашников и столь же плотно набитые “варёной”, “монтаной”, пластиковыми китайскими очками от солнца, магнитофонами японскими и прочим азиатским ширпотребом чемоданы возвращающихся на Родину дембелей. Иных коммерсантов за особо дерзкие сделки, естественно, отлавливали да показательно судили, однако же толку от этих судилищ было немного. Лихоимство в войсках процветало до самых последних дней.

На собственной шкуре и собственной головой набирался Сашка военного опыта. Из разговоров дотошных с разнообразным служивым людом, который таскал снаряды, допрашивал пленных, поднимал в воздух, гнал по дорогам боевые машины, бомбил, снабжал пайком, штопал раны и выполнял непостижимое число приказов, распоряжений и директив, медленно и устало разворачивавших эту войну к бесславному её завершению.

И хотя все эти разговоры и личный Сашкин опыт подсказывали ему, что в войне этой что-то идёт не так и победа над здешним гордым особистым народом никогда не будет одержана, честь советского офицера, воинская присяга, память об отце и внутренняя убеждённость в праведности избранного пути заставляли держать мысли потаённые под замком. Потому и тянул Сашка эту тяжкую лямку, этот свой крест, как и полагается русскому человеку: без ропота, с твёрдой убеждённости в необходимости исполнять свой долг.

...Пустыня накатывала сухим жаром, словно тугими волнами. Палила лицо. Порошила мелким песком глаза. Обжигала губы. Срезанная полуденная тень, что отбрасывала на песок раскалённая БМП, от солнца не защищала.

В первой фляге вода закончилась. Во второй нагрелась градусов до сорока, не охлаждала высушенное до черепичного звона нутро. Сашка вновь смотрел то на ящерку, что промчалась совсем рядом с кроссовкой, то на скорпиона, в каком-то ритуальном танце изгибавшего отравленный хвост рядом с прикладом его автомата. Разведка ушла в кишлак ещё на рассвете и до сих пор молчала. Больше часа взвод связи поддерживал их канал и шерстил промежуточные частоты. Но наушники шелестели песком эфира — пустынного, как сам Регистан.

Всю прошлую неделю Сашка воевал в составе 370-го отряда специального назначения под командованием майора Еремеева, контролировавшего пустыню провинции Гильменд и Нимруз от межозёрья Хамун до самого Кандагара. В отличие от остальных подразделений 40-й армии, которые, демонстрируя непобедимую мощь направившей их страны, все больше сопровождали грузы, охраняли дороги, аэродромы, а операции масштабные проводили не так уж часто, армейский спецназ только тем и занимался, что громил вражьи караваны с наркотой, оружием, лазуритом и самих бандитов отстреливал. Незримую во всех смыслах границу с Пакистаном прикрывал. Шли моджахеды туда и обратно двадцатью восьмью маршрутами через перевал Шабиян, по Регистану и пустыне Дашти-Марго. В каждом караване — от десяти до двадцати верблюдов, нагруженных всяческим барахлом наподобие пластиковых тапочек, шароваров, чайников, джинсов. Посреди тряпья легко упихать гашиш. Или чего позначительнее: фугасы, “стрелы”, патроны, тротил.

Ещё до рассвета уходил Сашка вместе с досмотровыми группами, что патрулировали караванные пути на “восьмёрках”, и с “крокодилами” прикрытия, чтобы вернуться до девяти, когда ни людям, ни машинам из-за жары передвигаться уже не под силу. За четыре часа много ли навоюешь? Пока взлетишь да караван засечёшь, да приземлишься, выставишь прикрытия, да тюки их многочисленные обшмонаешь, вот и утро прошло. Пора домой. И ладно бы с добычей. А то ведь двадцать мешков с дамскими бюстгалтерами, партия детских рейтуз или гофра со стульчиками...

На четвёртое утро, впрочем, свезло. Караван тащился по тёмной, едва розовеющей пустыне со стороны Шабияна ленивой лентой из двадцати верблюдов с погонщиками, четырёх навьюченных мулов и двух всадников позади и впереди торговой процессии. Приметив вертушку, люди и животные смиренно остановились. Машут руками приветливо. Улыбаются миролюбиво. Мол, ничего у нас запретного нет, летите себе с Аллахом, ребятки. Решили всё ж досмотреть. Для профилактики. Присели. Вперёд! Первым командир с Сашкой. За ним — пулемётчик прикрытия. Следом связь и ещё девять бойцов. Вертушка силовых установок не глушит. Молотят предрассветную прохладу винты, поднимая с земли протуберанцы песка, пыль, сухие колочки. Зажмурились верблюды, мулы и люди. Заржал встревоженно гнедой жеребец. И в это самое мгновение по вертолёту, по десантирующимся бойцам короткой автоматной очередью полоснуло. И ещё раз. И снова. Упали. Открыли, сатанея, ответный огонь. Тут же по рации Сашка связался с “крокодилами” прикрытия. Выдал в эфир координаты. Предупредил “беркута”, что лежат они возле машины в каких-то двухстах метрах от каравана. Мол, долбите их, голубчики, аккуратно, чтоб не задеть своих, а главное, транспорт. Вечность летят “крокодилы”, казалось. А на самом деле не больше пяти минут. Подскочили. Зависли. И принялись поливать караван с двух “металлорезок” дуэтом. Да НУРСами догонять. Вспыхнула пустыня яростным пламенем. Взметнулась огненными всполохами в небо, унося вслед за собой столбы переплавленного кварца, души мусульман да их несчастных животных. Наполнился мир таким нечеловечьим, раздирающим душу воем, что заглушил на мгновение и грохот вертолётных винтов, и долбёжку крупнокалиберных стволов, и трескотню автоматных очередей. Метались в мутном мореке чьи-то тени. Дыбились и рушились тяжело. И кто-то неведомый, спасаясь, даже бежал обратно, в открытую пулям бездну пустыни. И тоже падал, скошенный беспощадным ко всему живому огнём. Когда пыль и пороховая гарь, наконец, улеглись, над горизонтом взошло солнце, робко освещая

скорбную жатву войны — мёртвых младенцев. У Сашки поначалу — спазм в горле. Но, приглядевшись, понял, что это всего лишь пластиковые китайские пупсы, что перевозил караван в полосатых тюках. Валялись они повсюду. С удивленными голубыми глазками. С ручками вращающейся губками в глупой улыбке. Иных из них тоже достала пуля. Кому головку пробило. Кому разнесло тельце. Но пупсы всё одно улыбались, тянули к небу пластиковые ручки. словно о пощаде молили небо.

Посреди пупсов — мёртвый народ. Много народа. Человек двадцать с лишним. Топорчатся воронными да седыми бородами. Скалят сахарные зубы в последней молитве. У иных и лиц нет. На песок и на пупсов разметало их гордые лица. Но кому-то и не свезло погибнуть мгновенно. Юноша, кипарисово-тонкий, с пушком на щеках, с плавным изгибом густых бровей, мокро шамкает ртом, не в силах извлечь из себя ни звука. Пуля калибра 12,7 угодила ему прямо в пупок, разорвав в клочья живот со всем его содержимым. Туши убитых верблюдов подобны спящим гиппопотамам — огромны зловеще, ещё теплы, ещё истекают тёмной венозной кровью, парят на рассветной прохладе вывернутым наружу нутром. Глаза их полны ужаса. И среди животного мира нашлись тяжелораненые: ослик-доходяга и статный трёхлесток жеребец. Ослику, видать, пролетевшая сквоззю поклажу пуля задела позвоночник чуть ниже крестца, отчего задние ножки тудяги парализовало. Да он не понимал. Все пытался подняться с мешками своими. Сучил копытцами. Казалось, даже улыбался, будто извиняясь, стесняясь своей нечаянной искалеченности. Только подняться, конечно, никак не мог.

Жеребцу оторвало передние ноги по самые колени. И тот, боли, видно, ещё не чувствуя, озирался растерянно по сторонам, фырчал сердито, опираясь на раздробленные культы, не понимая и не принимая горькую свою долю. Хозяин его с пробитой головой всё ещё висел, зацепившись ногою за стремя, отчего жеребец фырчал ещё тревожнее, вздрагивал чуткой кожей и взрывкивал в меру сил, чтобы освободиться от зловещей ноши. Лихо рубит “металлорезка” четырьмя своими стволами. Нет от неё никакого спасения.

Бойцы бродили среди пупсов и трупов, проверяя ножами поклажу. Из одних тюков уже вываливались с тяжким грохотом автоматные “цинки”, в других обнаружилось с десяток китайских гранатомётов. Отыскивались в караване прицелы ночного видения и несколько комплектов портативных японских радиостанций, моток биффордова шнура, запалы к тротильным пашкам и, к вящей радости личного состава, два тюка с новехонькими натовскими бронежилетами, прикрывающими не только спину и грудь, но ещё и шею особой бронированной стоечкой. Таких для советской армии в ту пору не делали.

Пока связист с командиром досмотровой группы докладывали командованию о результатах боевой операции, а другие её участники поспешно утаскивали в вертушку многочисленные трофеи, Сашка жёг одну за другой дешёвые солдатские сигареты без фильтра, заглушая в себе нестерпимый трепет, который, словно раненый этот жеребец, бился внутри него тошно и муторно. И от фыркания, от хриплого стога несчастной лошади ему самому хотелось зарыться в песок, оглохнуть, ослепнуть, чтобы не слышать, не видеть, не чувствовать изуверских этих страданий. И когда всё его существо чуть не взревело зверем диким от душевного этого истязания, Сашка вскочил и бросился к жеребцу. Слёзы душили его, и унять их он не умел, а рука уже рванулась к кобуре на правом боку. Выхватила ПМ<sup>33</sup>. Три раза выстрелил в голову лошади. И два раза в голову ослика, прекращая разом и крики их, и страдания. На обратном пути лишь мельком взглянул в глаза красивого юноши с вывороченным нутром. Тот был ещё жив. Всё ещё шамкал беззвучно о последней милости. Но Сашка пистолет убрал. И прошёл мимо. Сухой жар пустыни в тот же миг высушил его слёзы. Обратил в солёную корку.

В наказание, что ли, за грехи его тяжкие, во испытание ли какое неведомое, да только всего через сутки, едва успел в баньку сходить и шмотье постирнуть, командование армейское и небесное отдаёт новый приказ: на легендарной Сарбанадирской тропе прохлопали моторизованный караван, что направлялся в Гильменд и окопался теперь в договорной зоне<sup>34</sup>.



Второй день вялились теперь бойцы в этой засаде. Жгли табак и анекдоты травили. Искали тени, но не находили её. Жаждали, но даже вскипяченная солнцем вода — и та на исходе. Осталась еще в радиаторе БМП. И, наверное, в узком арыке возле зарослей камыша, где засели теперь моджахеды. Ну и, конечно, в кишлаке за камышом. Вздому разведки, помимо прямых обязанностей по изучению обстановки на подходе к договорной зоне, поручалась ещё и задача сугубо снабженческая: приволокь оттуда бидон воды. Но разведка молчала. Шуршали песком каналы связи.

Объявились бойцы глухой ночью. С захваченным в плен крестьянином, но без воды, поскольку арык пересох, а до колодца ползти не рискнули. Доложили: духи ушли в кишлак. В камышах оставили передовую группу с миномётами и двумя ДШК, установленными на “тойотах”. Подходы, скорее всего, заминированы. Язык — из местных. Столкнулись случайно на выходе. Оставлять его было нельзя. Резать — тоже. Пришлось тащить с собой.

— Капитан, — прошипел комбат с крыжовенными глазами командиру разведроты, — сними показания по кишлаку. Утром будем “духов” мочить.

Крестьянину было не больше шестидесяти. Кожей сух, проявлен до черноты, ветром жарким обветрен. Седая его борода, аккуратно подстриженная местным цирюльником, видать, совсем недавно, придавала лицу благородство шейха. Тёмные руки с обломанными широкими ногтями, с рельефными прожилками вен подтверждали между тем происхождение низкое, знакомое с нуждой и повседневным трудом изнуряющим. Глаза цвета молочного шоколада глядели на окружающих его бойцов с достоинством и без искорки страха. Рот тряпичей заткнут. Руки связаны за спиной.

— Веди себя хорошо, — предупредил его командир разведвзвода капитан Костя Топорков, — тогда уберу портянку. Дёрнешься — перо под ребро.

И, не дожидаясь перевода, показал крестьянину любовно заточенный штык-нож. Тот понял и без переводчика. Согласно кивнул.

Вынули спонявший кляп. Костя, не переставая ножичком поигрывать, интересуется: сколько в деревне пришлых, сколько своих, где прячут оружие и какое? Но дехканин на все его вопросы молчит. Двигаются неслышно губы.

— Не слышу ответа, — цедит сквозь зубы Костя, у которого на этой неделе уже двух бойцов такие вот точно крестьяне загубили, играет желваками, заводится.

— Он молится, — поясняет переводчик.

— Правильно делает, — кивает комвзвода, отведавший на этой войне три контузии и осколочное ранение в щёку, отчего вид у Кости стал совершенно зверский. Только девушка его об этом ещё не знала. Вот он и дурел от тёмных мыслей. И тычет ножом старика в плечо. На грязной долгополой рубахе-пирухане расплылось бордовое пятно. Но тот даже не вздрогнул.

— У меня там жена и трое детей. Я не могу подвергать их опасности. Ты поступил бы на моём месте так же, — произнёс он, наконец, оборачиваясь к Косте благородным своим лицом.

— Это верно, — кивнул Костя, выслушав перевод, — да только мне на них насрать! У меня тут тоже женщины и дети, матери и отцы. Мне своих пацанов беречь надо. Но если ты сейчас нарисуешь план кишлака и укажешь свой дом, его не тронут. Обещаю.

Крестьянин задумался. Он знал, что шурави коварны и хитры. Что всё равно будут чистить кишлак от вооружённых единоверцев. Бить без разбора. А в предложении капитана был хоть и крохотный, но всё же шанс уберечь близких. Он согласился. Солдат развязал руки. Выдал лист бумаги из школьной тетради и карандаш зелёного цвета.

Пока старик чертил план кишлака и отмечал кружками пулемётные гнезда и дома, где разместились моджахеды, лишь в самом конце крестиком обозначив свой дом на краю, Сашка с горечью думал о том, что кишлак слишком мал, чрезвычайно тесен для исполнения обещаний комвзвода. И если применять авиацию, то даже при самой точной наводке беды не избежать. Саманный домик дехканина со всеми его обитателями непременно попадёт под авиационный удар.

— Спроси его, — подал голос Сашка, обращаясь к переводчику, — нет ли возле его дома какой-нибудь метки. Деревя, арыка или дувала?

— Есть дерево! Старая чинара. Самая высокая в нашей деревне, — понимающе улыбнулся старик.

— Ты и правда думаешь их спасти? — удивлённо спросил Костя авианаводчика.

— Попробую, — отозвался Сашка, — ведь ты обещал.

После допроса руки крестьянину вновь связали куском проволоки и оставили под присмотром солдата в тени БМП. Прикрыв глаза, он сидел теперь неподвижно, как та первая встреченная Сашкой ящерица, без сна, без воды, без надежды, с одной лишь безмерной верой в божественное предначертание. И насколько же сильна его вера, если, даже предавая единоверцев, обрекая их на гибель ради иллюзорной надежды спасти своих близких, он рассчитывает на божественное покровительство, на то, что Аллах простит его, пощадит его потомство и не сотрёт с лица земли огневой мощью советских НУРСов?

И в школе, и дома Сашку учили, что Бога нет. Что его придумали помещики и буржуи для закабаления трудящихся. Но ведь и помещики с буржуями верили, порою даже глубже и истовее простого народа. А их-то кто кабалил? Ответов на этот вопрос атеисты не имели и вновь талдычили, что вера — удел слабых духом и если кто и верит до сих пор, то по причине темноты и недостатка образования. Однако же оказавшись однажды классе в десятом на литургии в сельском храме, Сашка вдруг понял, что, хотя бы только для понимания происходящего на церковной службе, ему и вправду ни образования, ни просвещённости не хватает. А уж веры — и подавно! В храм этот на воскресную службу пришло, действительно, не больше пяти старушек да высокий нескладный парень лет двадцати. Покуда дьякон читал книгу, преклонных лет поп с золочёным крестом, что особо ярко светился на чёрной его рясе, стоял в стороне, а старухи подходили к нему по очереди, о чём-то шептали тихо. Он слушал их. Отвечал негромко. Накрывал затем склонённые седые головы тряпичей с вышитым крестом. Крестил. А те целовали книжку и крест. Парень, подойдя к попу, принялся плакать. Но тот обнял его, словно родного, и парень утешился. И тоже целовал крест. Три старушки тем временем пели грустные песни, смысла которых Сашка не понял.

“Блажени нищии духом, — пели они надтреснутыми голосами, — яко тех есть Царство Небесное.

Блажени плачущии, яко тии утешатся.

Блажени кротции, яко тии наследят землю.

Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся”.

Слова вроде как и русские, однако никто из Сашкиного окружения, включая школьных учителей, о блаженных, кротких, алчущих никогда не говорил. Поп с дьяконом тоже бубнили непонятное. Только и разобрал, что про царя небесного да про пресную деву. И ещё несколько слов. В конце вынесли чашу. Старухи выстроились в очередь, и поп по очереди кормил их с ложечки. И каждая отходила от него после этого с каким-то просветлённым, счастливым лицом. Даже плачущий парень. Он ещё долго потом стоял перед иконами и размашисто крестился, разворачиваясь плечом, словно снимал с него тяжёлую поклажу. Станные чувства охватили Сашку, когда он вышел из храма. Светло стало ему. Таинственно-неведомо от прикосновения к чему-то запретному и обществом осуждаемому. А на душе тепло и уютно, как было уютно в натопленной бабушкиной избе, под стеганым одеялом да с кружкой малинового чая после ангины. С тех пор он в церкви больше не бывал.

А этому старику, кажется, и церковь не нужна. Скрученный проволокой. Ножом колотый. Без воды и еды. В ожидании гибели самых близких ему людей, он шептал свои молитвы безостановочно, обращая взгляд сквозь полуприкрытые веки на пламенеющий рассветом Восток. И во взгляде его была одна лишь покорность.

К тому времени отправленный комбатом лазутчик уже добрался до камышей и запалил их бутылью керосина. Всего за несколько минут порывистый ветер раздул пламя в пожар. Но передовой отряд моджахедов, шкурой

почувя диверсию, тут же отступил в кишлак без всяких потерь и оттуда открыл плотный миномётный огонь, первым делом разорвав в ключья лазутчика, а затем, меняя угол наведения, всё ближе и ближе подбираясь к упрянтанному за песчаными барханами спецназу. Рассредоточились. Но на огонь решили не отвечать. И позиций тем самым не раскрывать. Огонь затих сам собою.

Часа полтора в пустыне всё было тихо. Трещал, чадил вкусным копчёным дымком догорающий камыш, едва слышно шелестел песок, скрывая лёгкий ход ослиных копыт, на которых объезжал теперь окрестности вражеский дозорный отряд. В пустыне и ночью-то тёмной чужака заприметить легко, а уж светлым днём — на километры вокруг видать. Схоронившиеся за барханами бойцы, хоть и рассредоточенные, со всеми их БМП, миномётами, антеннами и боеприпасами, для бородатых на ослах — лакомая добыча. Даже стрелять не станут. Вихрем известят своих о засаде. Комбат их не видит, не слышит, но какая-то внутренняя уверенность велит ему отправить две разведгруппы по обоим флангам в обход кишлака.

Та, что возглавил Костя Топорков, как раз и напоролась на дозорных. Бой был совсем короткий. Двоих дозорных зарезали. Один убежал. Он-то и навёл на разведку новый огонь. Били справа. Прямой наводкой. Но Костя уже увёл своих бойцов в безопасную глубь пустыни.

Еще через два часа из кишлака без всякой утайки выехало на лошадях пятьдесят моджахедов при полном боевом вооружении, с двумя полноприводными “тойотами” позади, оснащёнными пулемётами крупного калибра. Прутся по пустыне смело. Грациозно даже. Это их дом. У Кости приказ: противника отвлекать всеми возможными способами. Тот и отвлекает. То шашку дымовую зажжёт. То гранату кинет. Бегают его ребятишки от бархана к бархану ошалело, из самых последних сил, под раскалённым добела солнышком, увозя басмачей от своих подальше. Да только выдохлись мальчишки без воды, пешкодралом. Даже и не орут уже, еле мычат о помощи, перемешивая мольбы с густым отчаянным матом. Теперь комбат и левый фланг запускает в бой. Велит зайти моджахедам с тыла и отвлекать огонь на себя. Ему бы самому двинуть с техникой наперерез. Да только за минувшие дни и ночи осатаневшие от жажды бойцы прикончили даже воду из радиаторов, отчего из техники этой сейчас возможно лишь стрелять, а уж двигаться по жаре — запороть движок в два счёта.

Гоняли да изматывали бородатые наших ребятушек по пустыне, будто зайцев. И измотали вконец. Обессиленные фланги соединились, придавили моджахедов маленько плотным огнём в сторону авангарда и принялись косить перекрёстно. Пустыня простреливалась прицельно, прикрывала оба фланга грядой барханов, да на счастье у одной из вражских машин пробило оба колеса, и та зарылась в песок по самый бампер, на другой заклинило пулемёт. Накосил русский солдат за то утро не меньше двадцати человек и не меньше пятнадцать поранил. У самих — четверо раненых. Один тяжело. И каждый обезвожен. По окончании боя первым же делом ринулись к мёртвым в поисках фляг. И высасывали их до самозабвения жадно, обрекая себя и товарищей на дикий, нещадный понос.

К полудню, когда пластиковые подошвы солдатского “адидаса” чуть не плавилась на раскалённом песке, когда расхристанная, местами разодранная “песочка” проступала белёсыми пятнами вышаренного пота и не было сил не то чтобы стрелять, но и просто держать автомат, усталые роты возвращались на запасные позиции, прекрасно понимая, что нового боя им уже не снести.

— Авиация, — прохрипел комбат Сашке потрескавшимися губами, — зови своих! Будем мочить этих “духов”.

Но вертолётцы на подмогу не спешили. Несколько “крокодилов” всё ещё работали на перевале Шабиян, другие с поплавленными от жары и песка лопатками турбин стояли в ангарах в ожидании запчастей и ремонта. Так что подмога ожидалась ближе к вечеру. Комбат без остановки матерился в эфир, убеждая начальство, что бомбить кишлак нужно как можно скорее. Вода закончилась. Силы тоже. И надежды почти не осталось. “Вся ответственность за возможную гибель людей ляжет на вас”, — грозил комбат неведомому

чину. И тот орал ему в ответ визгливо, не желая ответственность эту на себя принимать.

К четырём часам, когда солнце вновь клонилось к закату, тёмным золотом заливая раскалённый песок, в наушниках Сашкиной радиостанции, наконец, послышались первые позывные лётчиков. С Кандагарской базы к ним спешили два “грача”<sup>35</sup> с четырьмя стокилограммовыми авиабомбами на пилонах, с ракетами класса “воздух-земля”. Два гарнизонных “крокодила”, оснащённых боеприпасом, как говорится, по самые яйца, уже на подходе. Запрашивают координаты сброса. Просят обозначить цель. Сашка цели эти в ожидании подмоги давно рассчитал. А миномётная рота уже и выставила их на прицелах, готовая в любое мгновение бить по кишлаку, обозначать фугасными разрывами линию бомбометания.

— Четыреста двадцатый! — орёт Сашка “грачам”. — Двести метров на северо-запад! Ребята, там дерево высокое есть. Не заденьте.

— Ты что, юный мичуринец? — смеется четыреста двадцатый. — Ладно, постараемся.

Миномётные хлопки с подзвоном да глухие разрывы в тлеющих тростниках — как увертюра симфонии уничтожения. Вслед за нею — дребезжащий рёв штурмовиков, выходящих на угол атаки всё ниже к песку и окопавшимся в нём людям. Бомба уходит с пилонов с лёгким, неслышным щелчком, мчится вниз, рвёт и без того раскалённый воздух центнером первоклассного советского тротила. Вслед за нею сыплются и рвутся ещё три авиабомбы. И ещё четыре — с другого борта. Восемь взрывов, один другой опережая, оглушают Сашку и схоронившихся за барханами бойцов тутими волнами сжатого воздуха, песка и пыли. Режут до слёз сетчатку глаз короткими вспышками оранжевого и белого огня. Дыбят чрево земли. Сперва копно-смоляными столбами, а спустя мгновение — табачными клубами, растекающимися долу в разные стороны. Труха древесная, крошево камней, замешенной на глине соломы, скромной крестьянской мебели и человеческих тел шлёпаются, секут песок тяжёлым скорбным дождём. И лишь алые женские шаровары да белотканая детская рубашонка суматошно носятся по прокопченному воздуху кромешного этого ада.

“Грачи” тем временем развернулись и вновь заходят на боевой рубеж, готовясь нанести ракетный удар. Вслед за ними с рокотом и победным воем в эфире шли на сражение вертолёты.

Зачарованный до самозабвения симфонией апокалипсиса, оглушённый громовой его канонадой, от которой звенели, рвались и сочились кровью барабанные перепонки, опьянённый запахами войны, густо замешенными на вони взорванного тротила, выхлопах авиационного топлива, смраде дерьма, горелой плоти, обольщённый исполинской мощью, позволяющей ему силою слова и воли вызывать огонь возмездия, стирать с лица земли любого врага, стоял теперь Сашка во весь свой рост посреди пустыни Регистан с простёртыми к небу руками, словно праведный в гнев своем Авраам. “И встал Авраам рано утром и пошёл на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на всё пространство окрестности, и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи”.

На закате, когда дым рассеялся, бойцы потянулись в кишлак. Обходя глубокие воронки, присыпанные землёй трупы людей и коз, остовы автомобилей и развалины жилищ, они искали уцелевшие колодцы и, наконец, ко всеобщей радости один отыскали. Пили жадно, опуская и поднимая прохладное от влаги цинковое ведро, наполненное мутной водой. Полнили солдатские фляги. Канистры из-под бензина для заправки порожних радиаторов. Лили воду на спины и лица, на которых запеклись разводы соли, сукровицы, соплей. Никто и не заметил, как из-за порушенного дувала им навстречу вышла женщина с тремя детьми. Разодранные шаровары едва прикрывали смуглые её ноги, а вязаная кофта цвета фуксии запорошена была толстым слоем земляной пыли. Волосы растрёпаны, а местами и вовсе подпалены огнём. На бледном даже в смуглости своей лице — разводы сажи, дорожки слёз. Следом семенили двое босых малышей в рваных, описанных многократно обносках. Личики их были чумазы и вместе с тем светлы. Но глазки каждого

полнил страх пережитого, чудной вид незнакомых людей, мёртвых односельчан. Третьего мать несла на руках. Мальчик был мёртв. И уже ооченел. Крохотный осколок ракеты прошёл сквозь крону старой чинары и отыскал его маленькое сердечко.

Окликнув переводчика, Сашка подошёл с ним к несчастной.

— Ваш муж жив, — сказал он, не отрывая взгляда от утончённого её лица с седыми прядками возле висков. — Это он спас вас сегодня.

Женщина смотрела внимательно, не опуская сапфировых глаз, словно пыталась понять, зачем здесь этот русский солдат и зачем он уничтожает её землю. И чем она, простая пуштунка, или муж её, или неразумные безгрешные дети могли прогневать Аллаха, допустившего уничтожение правоверных. Она понимала, что самым сомнением в справедливости Всевышнего оскорбляет Его, навлекает на себя и близких беду ещё более страшную, чем та, что творится вокруг. Ничего не ответила женщина. Молча опустила на колени перед солдатом и осторожно положила перед ним убиенное дитя. Словно жертву за спасение остальных.

Страшное это зрелище словно бы смертоносным фугасом разорвало сердце наводчика. Ни плакать, ни кричать он не мог. Соляным столбом стоял возле детского трупца. Трясся мелко. Горлом одним цедил несурзные, утробные звуки. Даже когда женщина поднялась, наконец, с колен, когда привели к ней мужа и тот кланялся Сашке в землю, а с ним кланялись вновь и жена, и малые дети, и когда старик снял с пальца перстень с лазуритом и стал настойчиво упрячивать его в онемевшую, бесчувственную Сашкину длань, пока грузили технику, да весь солдатский скарб, да сами на броню заползали, всё это время оцепеневший лейтенант ни разу не шевельнулся.

За ним снарядили двух дюжих прапорщиков, те отвели его к БМП, утолкали в стальную её утробу. Заботливая рука скрутила косячок чарса. Подсмолила. Вставила, словно кукле, в онемевшие губы. Сашка зыбнул короткой затыжкой. Закашлялся. И зыбнул ещё несколько раз. Только тогда отпустило. Взгляд его поплыл. Тело расслабилось. В голове растёкся мягкий и сладкий туман.

Точно такой же морок расплывался и на горизонте пустыни. Сделалось тихо. Всё, что звучало и ещё хоть как-то передвигалось здесь, вдруг замерло, затаилось в предчувствии невзгоды. Горизонт становился темнее и гуще. Кудлатой тучей дыбился, грозowymi облаками спускался с небес. Совсем скоро всё небо заволкло кирпичной клубящейся пеленой. Пылью мелкой понесло, забивая ноздри, глаза, бронхи. Буря песчаная дикая навалилась и придавила советский спецназ со всеми его миномётами, боевыми машинами пехоты, пулемётами и личным составом. Мигом люки замкнули, дырки тряпьем позатыкали, морды обгорелые, ветрами дублённые платками повязали — от заразы этой летучей просто так не избавиться. Будешь харкать после до тошнотиков, драть горло в кровь.

Насосавшись чарса, Сашка тут же присмирел душою. Обмяк. Отвалился на такого же обкуренного Костю Топоркова и мечтательно закатил серые свои глазки, оставшиеся в наследство от отца. И в шелесте песка по броне, в диких завываниях пустынного ветра, а порою и встряске многотонной машины чудился ему шелест драконьих крыльев, голоса сказочных джиннов, топот циклопов. “Из-под топота копыт пыль по полю летит... — вспомнил он отцовскую скороговорку. — Из-под топота копыт... Из-под топота копыт...”

## 9. Антиохия. В год консульства П. Корнелия Секулария II и Г. Юния Доната II (260 год)

Он мог бы перенестись сюда дуновением небесных эфиров или оседлав ветер самум, что поёт свои печальные псалмы песком Аравийской пустыни. Но Кириан избрал тот самый путь, которым много лет назад отроком уезжал из отчего дома.

Старая кедровая *корбита*<sup>36</sup>, чьи трюмы доверху забиты африканским зерном нового урожая, а гребцы усердны и расторопны, споро рассекала

морскую гладь, настолько прозрачную, что даже с палубы корабля можно было разглядеть песчаное дно, серебристые косяки ставриды, синие стаи обгоняющих судно дельфинов.

В те годы, что он прожил, покинув святилище Манто, провидение неутомимо влекло Киприана всё дальше и дальше в поисках тайных смыслов и магических знаний. Несколько лет он служил в храме Геры неподалёку от столицы Арголиды, славного Аргоса, и научился многим оболъщениям у жреца её. Затем перебрался на остров Икария, в храм Артемиды Таврополии. Здесь дни и ночи проводил в иступлённом служении девственной Артемиде, обучаясь у её жрецов кровавым охотничьим забавам и превращению в диких зверей. Оттуда пешком ушёл в спартанскую столицу, где, как известно, проживают самые искусные заклинатели умерших. Волхвы обучили юношу поднимать из могил мёртвых и вести с ними долгие разговоры о будущем. Из Лакедемона на римском военном судне добрался до египетского Мемфиса, чьи пирамиды, капища из слоновьих бивней, пышные сады украшали западный берег Нила. В этом многоязыком городе, собравшем под своим покровом египтян, евреев, сирийцев, греков, финикийцев, Киприан близко сошёлся с просвещёнными халдеями, избравшими его своим доверенным учеником. Почти три года обучали его халдеи звездочётству, проникновению в тонкие материи мироздания, счёту вселенского пульса, траекториям галактик, метаморфозам светил, но, помимо этого, ещё и навыкам совсем пустячным вроде толкования снов, гадания по драгоценным камням, приворотов любовных. Здесь, в свежих садах, в пустыне, что открывалась за городскими стенами Мемфиса, без боли и страха простился он со своим отрочеством. И вступил в пору юности.

Стал он красив, да настолько, что проходящих мимо девушек и особенно женщин в возрасте невольно охватывал трепет и у них слегка кружилась голова. Соломенные его власы тяжёлыми локонами ниспадали на широкие мраморные плечи, достойные резца и зубила афинских скульпторов, бездонные лазуритовые глаза, казалось, вмещали вечность, источали живой интерес и глубокую мудрость одновременно. Прямой нос, стыдливый румянец ланит, чувственные губы в мягкой поросли юношеской бородки. Точёный атлетический торс рельефно проступал даже под просторной шерстяной туникой цвета черешни с тяжёлой серебряной застёжкой на левом плече, изображавшей голову льва с убиенным агнцем в пасти. Вся плоть Киприана словно бы излучала невидимый, но сердцем ощущаемый свет, способный пленить, обратиться в добровольное рабство, лишить воли и разума. Искусству пленительного очарования он, конечно, тоже обучался у волхвов, однако со временем умения эти стали неотъемлемой частью его существа.

Облокотясь о кипарисовые поручни на корме корабля, Киприан радостно взирал на восток, где уже обретали контур, ясность и цвет родные, давным-давно покинутые берега. И старый кедр возле пристани. И сам причал с тяжёлыми бронзовыми кольцами для канатов. И свора бездомных псов, прячущихся в тени глинобитной постройки таможни. И портовая харчевня, из которой доносится сладкий запах жаренных на углях сардин. Всё это не исчезло и даже не одряхлело. Словно и не уезжал. Будто спал все эти годы.

Никто не встречал Киприана. Он не стал до времени тревожить родных, полагая явиться к ним с покаянием. В последний раз он написал матери из Мемфиса год назад. Но ответа не получил. Духи мёртвых, впрочем, повели ему о её безумии и о тяжкой болезни отца, пожиравшей того изнутри. Что и ускорило его возвращение в Антиохию.

Подкрепившись в портовой харчевне жирными сардинами и белым вином из запотевшего кувшина, он отправился в город пешком, рассчитывая преодолеть до конца дня полторы сотни стадиев.

Дорога к Антиохии вела меж невысоких холмов, укрытых густым ковром лиственных и хвойных лесов, то и дело выбираясь на пологий, усеянный плотной речной галькой берег реки Оронт и вновь скрываясь в тени орешников, пиний, платанов. Дикие горлицы услаждали слух юноши томными любовными песнями, болтливые сороки услужливо извещали всех окрест о его приближении, отчего прямо к дороге, кто проворно, кто степенно,

выходили благородные олени с кустами рогов, пугливые лани, огневые лисы, шакалы, зайцы, ежи. Не страшась друг друга, подходили к краю дороги и, завидев юношу, склонялись перед ним в глубоком, почтительном поклоне. Сердце юноши наполнилось светлой радостью, какую испытывает всякий повзрослевший сын, возвратившийся к отчему крову. На исходе дня оно и вовсе растаяло, когда в пролеске вековых кипарисов промелькнули мраморные постройки Дафны.

Амфитеатры, ручьи, храмы, озера и статуи священной рощи великолепны, как и прежде. Лишь мрамор от дождей без должного ухода пожелтел ещё гуще, покрылся пепельной патиной. Большой амфитеатр запылён палой листвой, сухостоем закидан, жухлая трава кустится меж мраморных плит, заросли плоча увивают колонны, увенчанные масками сатиров: весёлых пьес тут, видно, давно никто не ставил. И только храм Аполлона, где он некогда прислуживал покойному понтифику Луцию Крассу, где приносил в дар божеству первые свои жертвы, как и прежде, оставался величествен и прекрасен. И бог не постарел. Теперь он был одного возраста с Киприаном. Одной с ним стати. Не равных, но близких возможностей.

Без прежнего трепета поднялся Киприан по ступеням храма. Приблизился к бронзовому жертвеннику, засаленному горелым жиром. Коснулся липкого его края. Вздрыгнула паутина, что сплёл нынешним утром на краю жертвенника проворный крестовик. Суетливая ласточка слетела с гнезда под самым портиком. Прощуршал по гладкому полу сухой платановый лист. И в каждом едва уловимом звуке Киприану слышался голос бога, который снисходительно улыбался ему из прохладного полумрака адитона. “Вот новый Замврий! — восклицал Аполлон. — Всегда готовый к послушанию и достойный общения с нами”.

В то же мгновение где-то неподалеку ухнули тимпаны, а им вослед полились сладкие струи свирелей, перелив *пандур*<sup>37</sup>. Возле затянутого ряской пруда позади святилища Киприан увидел несколько богатых шатров, повозки, породистых скаковых лошадей. Судя по множеству слуг, обилию посуды, кувшинов с вином, страстной музыке, треску пылающих дров, элегантно одетым юношам и едва одетым девушкам, здесь готовилась обычная вакханалия, на которых развлекались молодые люди из состоятельных семей во все, кажется, времена со дня сотворения этого мира.

Богатые ковры из Персиды нещадно расстилали прямо на земле, поверх ковров — тугие подушки, выделанные шкуры тонкорунных овец, шерстяные одеяла на случай ночной прохлады. Бронзовые светильники в руку толщиной с керамическими колбами, залитыми очищенным оливковым маслом. Медные подносы размером с колесо крестьянской повозки полнились лиловыми и матовыми гроздьями винограда, треснувшими до самого алого чрева гранатами, фиолетовыми смоквами. На других подносах — недавно из печи, с хрустящей корочкой ячменные лепешки, перья лука, веточки мяты, изумрудные стручки сахарного гороха, оранжевая морковь и рубиновая россыпь редиса. Вслед за ними расторопные слуги волокли от костров парящие куски отварной козлятины, что особенно хороша с тутовым соусом, поджаренную печень нерожаемых телух, оковалки печёного мяса в крошечке розмарина, розового перца, можжевеловых ягод. Душистый аромат яств стоял уже повсюду, придушив на время даже священные ароматы реликтовых орхидей и гибискусов.

Молодые люди, покидая распорядитель пира не пригласил их к столу, хвастались друг перед другом серебряной инкрустацией уздечек, статью жеребцов и убранством колесниц. У одних за спиной были колчаны со стрелами и луки, искусно вырезанные из египетской акации. У других — кинжалы и иберийские мечи, предназначенные для ближнего боя, но скорее как свидетельство юношеской гордыни, желания продемонстрировать сверстникам свою мужественность. Девушки в полупрозрачных туниках из тонкого шёлка, бесстыдно облегающих их гибкие станы, сплетничали, заливались серебряно-звонким смехом, не забывая похвалиться подружкам новым изумрудным ожерельем, браслетом из золота, сапфировыми серьгами.

Вдруг кто-то окликнул Киприана из шатра, и тот, лишь на мгновение замешкавшись, последовал на оклик, сам ещё не понимая, зачем.

Юноша, позвавший его, видно, верховодил в этой компании. Роста невысокого. Ликом смугл. Утончен отрочески. Мелкие его кудри, карие глаза, широкий горбатый нос выдавали в нём сирийца. А дерзкий взгляд — сирийца непримиримого и горделивого. Казалось, он ещё только вступает в юношескую пору, однако авторитетом, храбростью, нахальством превосходил многих, в том числе и ребят возрастом постарше. Звали его Аглаид.

Под удивлённые взгляды товарищей, сдавленный шёпот и перемигивания девиц Аглаид с аристократической непринуждённостью и радушием пригласил путника пройти в шатёр, подготовленный для пиршества, и посадил его рядом собой. Прежде чем сесть, Киприан поклонился юноше и пристально посмотрел ему в глаза, читая в них за пеленой надменности страх и отчаяние.

— Возможно, я смогу помочь твоей беде, — молвил Киприан вполголоса.

Юноша вскинул удивлённо брови, но промолчал, в ответ указуя рукой на вышитую подушку.

После того как подняли кубки с фалернским вином, разговоры оживились. Судачили, как и многие горожане, о гонениях на христиан. И о том, что Антиохия вдруг оказалась в самом центре этих гонений.

— Да не вдруг, — запальчиво горланил некий юноша в голубой тунике и с двумя медными браслетами на запястьях, — а при вашем попустительстве и попустительстве предков ваших заселили они наш прекрасный город. Кто, по-вашему, терпел этого Савла и Варнаву, и Симеона Нигера, и Манаила? Не ваша ли родня? Гнали их иудеи. Синедрион иудейский постановил умертвить. Так вы приютили. Нечего теперь жаловаться!

— Слышал, появились целые христианские полисы, — вторил ему другой, с копной рыжих волос и пронзительно-голубыми глазами. — Не распинать же всех! Крестов не хватит!

— А я их понимаю, — вмешалась белокурая девушка с упрямым ртом. — Разве вправе мы преследовать людей только за то, что они верят в другого бога? И, кроме того, не кажется ли вам, что вера их сильнее нашей, ежели без страха идут за неё на смерть. Они с радостью умирают за своего Христа. А вы готовы умереть за Аполлона?

— Не гневи богов, Корнелия, — прервал её Аглаид, — христиане — угроза империи. Если они чтут какого-то иудея Христа, если только ради него готовы идти на смерть, то они никогда не сделают это ради римского императора. И не должно ли глубоко сожалеть... о том, что дерзко восстают против богов люди жалкой, запрещённой, презренной секты, которые набирают в своё нечестивое общество последователей из самой народной грязи... Они называют друг друга без разбора братьями и сёстрами для того, чтоб обыкновенное любодеение чрез посредство священного имени сделать кровосмешением...

— И поклоняются ослиной башке, — крикнул кто-то

— И приносят в жертву младенцев, — крикнул другой.

— А что думает о них странник? — спросил Аглаид, оборачиваясь к Киприану.

За время долгого своего путешествия тот встречал множество христиан, но самую первую встречу с беглым рабом Феликсом, его тайную молитву в убогом закуте и явленное там чудо помнил ясно, словно одним лишь воспоминанием этим прикасался к чистому источнику благодати. Уже в Мемфисе он усердно изучал апологии Юстина, зачарованный его понятиями *нерождённого, неизреченного, неизменного... извечного*<sup>38</sup>. Но более того ошеломлён его стойкостью на суде, приговорившем этого выдающегося философа и апологета, а заодно и нескольких его последователей к смерти. “Я преподавал много философий, — смиренно отвечал он судьям. — Сейчас у меня одна. Это философия Христа”.

Киприан восхищался виртуозной полемикой с гностиками Лионского епископа Иринея, обосновавшего неделимость Святой Троицы и, собственно, саму сущность совершенного человека, который и сам “состоит из трёх — плоти, души и духа, из коих один, то есть дух, спасает и образует; другая, то есть плоть, соединяется и образуется, а средняя между этими двумя,



то есть душа, иногда, когда следует духу, возвышается им, иногда же, угождая плоти, ниспадает в земные похотения. Итак, все не имеющие того, что спасает и образует жизнь, естественно будут и названы плотью и кровью, потому что не имеют в себе Духа Божия”.

Как и многие просвещённые волхвы, Киприан руководствовался учением Оригена о предсуществовании человеческих душ и уже после мученической гибели философа специально отправился в Кесарийскую библиотеку, чтобы прочесть лишь некоторые из свитков Гексаплы<sup>39</sup>.

И уж, естественно, как и всякий образованный человек того времени, человек, возлюбивший не только мистическую составляющую мира, но и его смысловую, философскую составляющую, Киприан, пытаясь докопаться до истоков мироздания, с удовольствием заучил наизусть крамольные, запретные афоризмы неистового Квинта Септимия Тертуллиана, который заявлял: *Credo quia absurdum est*, о душе утверждал — *Anima naturaliter christiana*, а к женщине обращался со словами: *Tu es diaboli janua*<sup>40</sup>.

Императорская власть теперь не казалась непоколебимой твердыней, как прежде. И даже святость богов оказалась безупречна. Но ведь не может один, хотя бы и самый праведный человек, пусть и добровольно взошедший на крест ради грехов всего человечества и воскресший, по Писанию, на третий день, разрушить не только империю, но и веру тысячелетнюю? Значит, сила не в Человеке и не в Его распятии. И даже не в Воскресении. Но в непознанной, неподвластной человеческому разуму силе, сокрытой и в Нём, и в Отце Его, и в Святом духе. Силе, соединяющей все эти три ипостаси. И потому творящей весь этот мир. Промышляющей о нём. И его освящающей.

Чем чаще испытывал Киприан на себе эту великую силу, тем явственнее ощущал собственную беспомощность, а все свои многочисленные умения по обращению человеческой души, всё эффективное, но по сути своей бессмысленное ведовство осознавал не более чем фокусами бродячих актёров.

Но всё это — где-то глубоко, на самом доньшке души. На поверхности же — гордыня, тщеславие, зависть. За спиной — армия тьмы, что ходила за ним повсюду.

Развалясь на подушке, Киприан, лениво отрывая от виноградной грозди ягоду за ягодкой, наконец произнёс:

— Что там Христос и верные его последователи! Поверьте мне, я видел самого князя тьмы, ибо умилостивил его жертвами; я приветствовал его и говорил с ним и с его старейшинами; он полюбил меня, хвалил мой разум. Обещал поставить меня князем по исхождению моём из тела, а в течение земной жизни — во всё помогать мне; при сём он дал мне полк бесов в услужение. Когда же я уходил от него, он обратился ко мне со словами: “Мужайся, усердный Киприан, встань и сопровождай меня, пусть все старейшины бесовские удивляются тебе”. Вследствие сего и все его князья были внимательны ко мне, видя оказанную мне честь. Внешний вид его был подобен цветку; голова его была увенчана венцом, сделанным из золота и блестящих камней, вследствие чего и всё пространство то освещалось, а одежда его была изумительна. Когда же он обращался в ту или другую сторону, всё место то содрогалось; множество злых духов различных степеней покорно стояли у престола его. Ему и я всего себя отдал тогда в услужение, повинуюсь всякому его велению.

Присмирившая молодёжь слушала его оторопело. Иные и вовсе отодвигались подальше, не веря услышанному, наивно полагая, что всё это не более чем розыгрыш, шутка умом пошатнувшегося странника. И даже улыбались глумливо.

И лишь один Аглаид думал о чём-то сосредоточенно, жадно всматриваясь в лицо Киприана, словно стараясь запомнить его навек. Когда же тот закончил свой рассказ, вновь пригубил из кубка и, преломив сочную мякоть смоквы, предложил выйти прочь.

Здесь, возле топкого пруда, чьи земноводные обитатели уготовились к ночным серенадам, юноша упал на колени и произнёс:

— Вижу, только ты и в силах помочь моему горю. Поверь, ни злата, ни драгоценных камней я не пожалею, лишь бы ты согласился силой своей

колдовской разрушить чары, что опутали меня и не дают даже дышать без сердечной боли. Можешь ли ты побороть эту напасть?

— А что за напасть, достопочтимый Аглаид? Ты не сказал.

— Любовь, мой друг, любовь.

Всю-то ночь до первых проблесков юной зари продолжалась вакханалия эта. С десятками кувшинов вина, которым, опьянев, даже поливали друг друга. С потешными битвами на мечах, окончившимися всё же нешуточно — глубокими порезами и синяками. С плесканиями в пруду и повальным сойтием на его берегах.

Киприан, которому всё это было уже не в радость, тем временем подходил к городским вратам.

### **Кондак 5**

Боготканную одежду святаго крещения приявше, о Киприане, усердно молился еси к Богу о прощении грехов, прежде содеянных, неустанно воспевая Богу: Аллилуиа.

### **Икос 5**

Видев епископ подвиги и труды твоя, священномучениче Киприане, пост, многонощное бдение, коленопреклонение, молитвы слезные, и по прошествии месяца поставил тя диаконом. Мы же, благодаряще Бога, восхваляем тя: Радуйся, день и ночь к Богу взывавый; Радуйся, рuce свои к Нему простиравый. Радуйся, о прощении Того просивый; Радуйся, слезные молитвы Ему приносивый. Радуйся, пламенную любовь к Богу показавый; Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## **10. Панджшер. Февраль 1984 года**

Утро в горах уже совсем морозное, до мелкой трясучки. До седой изморози на влажных камнях. Проваливаешься в объятия тревожного сна на каких-нибудь четверть часа. И вновь пробуждаешься от холода, высасывающего сквозь бушлат с цигейковым воротом, сквозь ватные штаны в пятнах машинного масла последнее тепло.

Законопатили их “духи” в неглубокой расщелине на подходе к вершине Хаваугар плотным миномётным огнём да ещё срубили крупным калибром поспешившую на подмогу дежурную вертушку.

Всю ночь пылала, чадила сажей подбитая машина, распластавшись на пологом склоне погнутыми лопастями винта, плавящимся дюралем, топорщась мертвенно силовым каркасом, схожим с рёбрами доисторического животного.

Утыканные множеством заметных и вовсе не приметных пещер склоны Хаваугара — и сами по себе неприступный укрепрайон, который так просто не зачистишь. Хотя и зачищали его за все малые и большие Панджшерские операции не раз, и бомбили фугасами по пятьсот кило каждый, веяческими ракетами, “гиацинтами” да “градами”, полировали. Сокрушительными этими ударами только новых дыр понаделали. Но народ горный не напугали. Стал он ещё осторожнее и хитрей. Забирался в норы на отвесных скалах по канатам. Шинковал оттуда доблестные наши войска почём зря. И вновь исчезал куда-то.

Подкравшаяся с тыла разведрота к рассвету начала отвлекать огонь на себя. Оживился радиообмен, где в шелесте и провалах помех каждый из участников, то и дело матерясь трёхэтажно, просил, а то и умолял добавить, прижать, вдарить, расфигачить к ядрене фене. Из расщелины своей спасительной, вооружившись только армейским биноклем, штурманской линейкой и радиостанцией новомодной взамен пробитого осколком раритета, передавал Сашка фактическую погоду, основные ориентиры огневых точек повстанцев, азимуты подхода и курсы атаки. Вертолётная эскадрилья уже знала о потере своего экипажа. И рвалась в бой отомстить за погибших ребят.

— “Визит”, как слышишь? — голосит возбуждённо бортовая радиостанция “крокодила” Сашкиными позывными. — Курс сто пятнадцать. Заходим на боевой. Разрешите работать?

— Работать разрешаю.

Врываются в ущелье один за другим рокочущей густо стаей. Плава холодный воздух в роторах силовых установок до кисельной окиси углерода, изготовляясь всем своим тротиловым эквивалентом, всем своим свинцом, поражающими элементами и ненавистью к отмщению. С глухим грохотом, подобно ангелам бездны, опускались вертушки с небес. Поочередно хлестали ракетным огнём, сыпали пулёмётными молниями, с иступлённой ненавистью топили гашетку, покуда та не задыхалась холодным щелчком. А после того с пронзительным воем разворачивались в обратку, чтобы уступить место для боя новой машине. И новой ненависти боя в смертельной и беспощадной этой карусели.

Горы в ответ огрызались пулёмётным огнём. Лавиною гранитного камнепада. И гулким эхом, усиливавшим и разносящим звуки этого ада на многие километры окрест. Горное эхо останавливало проворный ход диких козлиц. Возбуждало стаи остроклювых стервятников, уже прирученных к тому, что после каждого такого эха наступает сладкая пора пирушества на останках человеческой плоти. Кипятило кровь жителям горских селений, для которых каждый раскат эха означал потерю мужа, сына и брата. Ближнего или дальнего. И даже когда горы умолкли мертвенной тишиной, карусель боевых машин продолжала утюжить горы огнём преисподней, словно желая расстрелять самое сердце Панджшера, уничтожить пять его львов.

В узкой расщелине под градом гранитной щебёнки и каменюг увесистых, одна из которых припечатала Сашку пониже зада, под грохот и треск измочаленной, изнасилованной моторами чистоты горной, под всполохи рвущейся плазмы и ударной адиабаты лежал он, в припадочном иступлении отсылая в эфир короткие, как проклятия, приказы. Ожидая с нутряным ужасом, что следующий удар, следующая вспышка или крохотный осколок каленой стали оборвут его жизнь равнодушно и мгновенно. “Лучше бы так, — молил незнамо кого Сашка, — мучиться не смогу”. Помимо скорой смерти, он просил Его пожалеть мамку. А отца, если тот видит его сейчас в этой глухой расщелине, укрыть и спасти полой невидимой своей шинели. Глубинная метафизика войны в том и состоит, что в какой-то момент солдатской жизни теряет всяческую связь с миром материальным, скоблит душу до доньшка, обращает к Тому, Кого и по имени-то не каждый знает, но сердцем чувствует, как чувствуют мать, по гроб связанную с её отпрыском невидимой духовной пуповиной.

Так и Сашка молился безымянно, безадресно, истово, слов не выбирая, иной раз и матерясь, и трясясь всем своим скукоженным под бушлатом телом, пылью харкая, глазами слезясь.

Возмездие свершилось. Одни машины, жирно и дружно похлопывая лопастями, подались на базу, а им на смену уже спешили другие — подбирать выживших, покалеченных, мёртвых.

Выбрался и Сашка из своей засады. Отряхнул с рукавов, с обшлагов бушлата гранитную пыль. Влажный изнутри от пота треух с фамилией не известного ему воина, может, и убитого уже, на изнанке обстучал о коленку. Станцию с удочкой штыревой антенны конструкции Куликова на спину взгромоздил. Подпалил ароматную после всех душевных расстройств и потрясений болгарскую сигаретку “Стюардесса”. Следом и другие бойцы повывлазили. Запылённые их физиономии солнечно сияли. Боевой дух пёр, что называется, изо всех щелей. Пускали яростно дым. Передёргивали затворы раскалённых неубиваемых “калашей” со спаренными рожками, валетом перехваченными изолентой. Ржали беспричинно и неугомонно. Радость мальчинок была понятна и в простоте своей очевидна. Вот ещё один бой позади. И ты, сучий потрох, снова живой! Это ли не счастье?

Да только метров через пятьсот перехода по сухому гранитному логу к подбитой, тлеющей воньким химическим чадом, вспыхивающей синим и зелёным огнём дежурной “восьмёрке” лица бойцов вдруг осунулись, дух боевой враз улетучился.

По обе стороны бортового остова, посреди чёрных от копоти камней раскиданы скрюченные, обугленные останки, в которых только по пропорциям, и то неявным, возможно узнать человека. Спалённая до состояния угля кожа и плоть — на ногах, на пузе, на голове — обвалилась, обнажая сахарной чистоты кости, рёбра, черепа. Их оскал даже можно было принять за улыбку.

Бредущие мимо бойцы и те бойцы, что только прибыли на поле битвы для вывоза павших; опытные, войною не раз целованные да битые, и те, для кого это было самое первое кровавое сретение, — все они до единого, глядя в пустые глазницы павших, а потом ещё долго чуя спиной их насмешиливый оскал, испытывали безотчётный ужас. И столь же безотчётную, не иначе как даруемую провидением радость. Не меня!

Пока курили, сгрудившись потным, прокопченным, гомонливым табором возле плоского, с небольшим наклоном валуна, приспособив его под своего рода удобную столешницу, на которую можно выложить фляги с водой, несколько банок тушёнки, пакет сухарей и солдатскую радость — рогачёвскую сгущёнку, — Сашка всё оглядывал притихшие скалы, уклоны. Некоторые из них, раскуроченные огневой мощью советского оружия, щерились глубокими зияющими дырами, откуда торчали ракетные осколки, тряпичная рвань убитых, но чаще возле них клубилась глухая и безжизненная тьма. Другие откосы, избежав возмездия, кустились мирно куртинами полыни и ежовника. Вспыхивали на солнышке, то и дело прикрываемом снующими облачками, короткими блёстками слюды, вкраплениями горного оникса. Такая вот точно вспышка проскочила возле незаметной, прикрытой сухостоем пещерки метрах в двухстах вперёд по пологому нехоженому склону. Досматривать её никто не приказывал, угрозы — явной или скрытой — от неё вовсе не исходило, однако что-то ни с того ни с сего Сашку от тушёнки и сгущёнки отворотило да в бездну поволокло. Ну, и ротный отправил вдогонку, раз такое дело, двух своих бойцов. Двух белокурых, аки херувимы, парнишек недавнего призыва.

Подбираясь поближе к пещере, Сашка всё отчётливее понимал, что убежище это — с секретом. Прежде всего, заметил он вымазанный глиной ствол китайского пулемёта, несколько цинков с патронами возле стеночки. Показал глазами пацанам двигаться тише: ножищами по осыпи не шаркать, хвост поприжать и навести уши. Да прикинуть, куда им всем сваливать, если стрелок вдруг от контузии очухается и начнёт палить по сторонам. Однако тот не шевелился. Затвором не щёлкал. И даже не дышал. А через несколько шагов оказалось, что его там и вовсе нет. Логово — пусто. Стало быть, место это резервное, изготовленное на потребу будущих сражений.

Протиснулся в него не без труда. Пошарил по углам, обнаружив в одном из них три лимонки, ещё один пулемётный цинк и глиняную деревянную площадку с заплесневелыми остатками сыра. Пулемётчик покинул свой пост не меньше недели назад. Если не считать крупнокалиберного пулемёта, добыча была не слишком богатая. А если учесть, что оружие необходимо ещё выволочь да спустить вниз вместе с остальными боеприпасами, то ещё и трудоёмкая. Впрочем, иных добыч тут и не бывало. Любое благо, даже совсем скромное, солдатское, оплачиваемое всего-то несколькими чеками “Внешноторга”, приходилось отстаивать, добывать, а порой и вымалывать у того, кто выше тебя, старше, опытнее, сильнее.

Выполз из вражьего логова весь в земляной пыли. С бурными пятнами пота в подмышках, на вороте. Ступил от створа всего-то два шага вперёд, когда послышался короткий, показалось ему, совсем далёкий хлопок. Мелькнуло: подорвался кто-то, должно быть. Но в то же мгновение голубая лазурь неба с прытко бегущими облачками вдруг кувыркнулась набок. Сашка упал, пребольно хряснувшись башкой о камень. И только тогда увидел полотняное, бледное лицо одного из облачённых в солдатские бушлаты херувимов. И понял: подорвался он сам.

Ног он не чувствовал. И не видел. Но та поспешность, с которой херувим рылся в своей аптечке, а другой, тоже полотняно-бледный, хрипел о помощи в эбонитовый кукиш рации, не оставляла никаких сомнений, что дело его совсем худо. Закружило.

— Потерпите, тащ капитан, потерпите ещё немножечко. Я час... — лепечет херувим, извлекая, наконец, из подеумка шприц промедола и с размаху всаживая его сквозь портки в левую Сашкину ляжку.

— Ноги? — спрашивает его Сашка, чуя обречённо ответ.

Парень кивает, ширя зрачки, словно впервые видит отверстую плоть человечью. А может, и правда впервые?

— Сильно цапануло?

— Одну оторвало. Вона, в кустах. Другая болтается... Может, пришьют ещё...

Сашка повернул голову, куда показал херувим. Возле куста высохшей акации лежала его нога, какой он помнил её ещё с прошлого дня: в шерстяном носке с вишнёвым ободком, что связала и прислала с прошлой посылкой мама, в новом, почти не топтанном ещё берце, пару которых недели две назад раздобыл на вещевом складе в Джелалабаде взамен обожжённых на солдатском костровище по рассеянности дневального. Штанина была черна от крови. Длинная игла сухой акации пронзила ногу чуть выше голени.

— Херушки мне пришьют, а не ногу, — молвил Сашка, казалось бы, обречённо, но тут же добавил по-солдатски рублено, жёстко: — Снимай антенну. Делай жгут. Перетягивай выше отрыва.

Упругий штырь антенны гнуться не желал. Вертелся налимом. Пружинил нещадно. В том числе по морде и самому херувиму. Но тот его, заразу, всё ж дожал, догадавшись ослабить натяжку, и тросиком стальным с россыпью алюминиевых втулок обе ноги перетянул.

А тут и “скорая помощь” подоспела. Грохочущим левиафаном опускался к нему всё ниже спасительный борт, уже и лесенку сбросил вниз, поскольку присест ему на этом зыбучем уклоне никак невозможно. Разве что ювелирно коснуться камней краешком шасси, подцепить “трёхсотый” руками и тут же умчаться в звенящую зыбь утра. Воздушная кавалерия и не таких храбрецов в руки медиков доставляла. И не таких бедолаг с того света выковыривала.

Херувимы Сашке под белы рученьки просочились. Просили держаться покрепче да вновь потерпеть. Поволокли к “восьмёрке”, словно жеребцы в упряжке — без всякого разбора и оглядки на его безногое положение. Культа кровит. Другая нога на сухожилиях только ещё и держится. Крутит её, горемыку, волочит по камням вразнос. В деле спасения раненого теперь первое всего время, за которое доставят того в медсанбат.

А тут, как на беду, и шок травматический начал отступать, а может, и действие промедола ослабло, только почувствовал Сашка и обрубок свой искромсанный, и каждый выкрутас ноги оставшейся, каждый камушек, по которому её, бедолагу, тяжким беременем волочило.

И боль. Такой боли он в прежние годы не ведал. Не знал, что такая бывает. Классе, наверное, в пятом мать отвела его к дурно пахнущей тётке-стоматологу, что поставлена была поправлять зубы детшкам в районной поликлинике. Видно, тётку эту зубному ремеслу обучали в фашистском концлагере, поскольку издевалась она над школьником не меньше часу: ковыряла во рту стальным инструментом, сверлила на малой скорости, да так, что в комнате зубврачебной воняло палёной костью, дымок из пасти струился, а сверло то и дело соскальзывало в десну. Тётка злилась. Со всей дури упиралась локтем в тщедушную парнишкину грудь. Рожой своей широкой с чёрным волосем на верхней губе и длинными завитками на бороде нависала над Сашкой потно, сердито, грузно, отчего и боль, и ужас смешались в нём в бабью, недостойную пацана истерику. Голосил и визжал по матери. Пинал тётку в мягкий живот коленом. Ужом вертелся. Отчего унижение и боль только крепчали.

В другой раз в одной из многочисленных дворовых потасовок, без которых советскую жизнь, равно как и без крепкой дворовой дружбы, трудно себе представить, Женька Алпатов, званный местным населением за приверженность к идиоме Бляхамуха, врезал Сашке по яйцам. Дрались они благородно за сердце местной Дульсиной Леночки Ковалёвой, что помимо средней школы посещала ещё и школу музыкальную, и студию бальных танцев,

а в свободное время разбивала мальчишеские сердца зазывными взглядами без разбору, неприличной для восьмиклассницы длиной юбок и вполне профессиональным флиртом напропалую. Чаще всего его результатом становились такие вот потасовки. Бились кулаком в морду. Дубиной — по хребту. Свинцовым кастетом — под рёбра. Но чтоб вот так подло, с футбольным замахом да с оттяжкой по причинному месту — такого не бывало. Сашку от сокрушительного удара враз переломило. Рухнул наземь, ухватившись за пах. Не смея вздохнуть. Потом катался по волглой осенней траве подранком. Выл, цедил страшные проклятия Бляхамухе, матери его, отцу и всей его неведомой родне заодно. Остаток дня сидел. А если и двигался, то пингвином, вперевалку. Вечером, схоронясь в ванной комнате, с ужасом взирал на опухшие свои причиндалы, холодея от одной только мысли, что никогда не сможет ими уже воспользоваться и покорить сердце Ковалёвой Ленки. Утром мочился кровью. Но через пару дней организм с ушибом совладал, а через месяц и инцидент был исчерпан, ознаменованный пачкой дорогих сигарет “Каравелла” и мирным их воскурением с покающимися Бляхамухой.

Но ни предательский удар товарища, ни издевательства тётки-зубодёра нельзя было и близко поставить с тем, что он испытывал сейчас. Боль поселилась в каждой его клеточке, в каждой молекуле истерзанного тела, наполнила собой мозг, туманя сознание, не оставляя на свете этом, в мире этом ничего, кроме нестихающей, всепоглощающей боли. Сашка даже кричать не мог. И слёзы его тут же сгорали. Душный комок, словно дрянная солдатская портянка, перекрыл горло. Мутило. Выворачивало наизнанку. Но блевать он тоже не мог. Чудовищно медленная, ржавая мясорубка перемальвала, жевала, сосала всё его тело, грозясь не убивать, но терзать вечно.

— Выше падыма-а-ай! — орёт “бортач” херувимам, что из последних сил дыбят Сашку повыше к вертлявой лесенке. Умываются венозной его кровушкой, хрипят затравленно, страшась, что тот вот-вот соскользнёт и тогда с надеждой придётся вновь поднимать капитана на борт. Но вот уцепился. Держит крепко стальную втулку ступени. Теперь подтянуться. На одних руках. Тянется, цепляясь пальцами, скулой.

И рушится вниз. Кульями, башкой, мордой — в гранитный отвал. Должно быть, он потерял сознание, потому что очнулся вновь в крепких руках херувимов, что наотмашь хлестали его по морде, бинт с нашатырём пихали в ноздрю. Машина всё ещё молотила винтами горную свежесть. И бородастый “бортач” со злобой покорёженной мордой спускался по лестнице вниз, чтобы перехватить Сашку.

— Тока сорвись, сука, я тя тут и оставлю! Понял, сука?! — орёт бортмеханик, свешиваясь всё ниже, цепляя Сашку рукой за шкирман, вытягивая того к себе. — Держа-а-ать! — велит херувимам. — Хватай, сука! — велит Сашке, и тот вновь цепляется за тёплую сталь ступени.

“Почему он обращается не по уставу? — думает про себя Сашка. — Почему обзывает? Вот прилетим в часть, я ему всыплю”. И сам же улыбается горячечным своим мыслям. Какая, к лешему, часть? Какой “всыплю”? Какой, на фиг, устав? “Бортач” тем временем вновь тянет его за загривок всё выше. И вновь велит цепляться за ступень. Сашка видит его кроссовки у самого своего лица. Три знакомых каждому советскому солдату листочка, три ступеньки вверх. Всего три. Нога Сашкина болтается над землёй, натягивая сухожилия до струнного звона. Колотится, бьётся о трос, обнажая обрубленную сахарную мостальгу берцовой кости в ошмётках набухшей от крови штанины. Теперь он видит её. И всё отчаяннее цепляется за ступени.

В последний раз дёрнул его “бортач” за шкирман, а затем ухватился сильнее, в обе руки да поволок без остановки и выволок на дюралевое днище “восьмёрки”. Та сразу же взревела силовой установкой, выиграла рулевым винтом и с радостью после вынужденного и несвойственного ей топтания на месте ринулась в сторону Баграма.

Сашка лежал, прижавшись лицом к холодной дюрали, к подсохшей крови живых и мёртвых парней, что вывез немало только за нынешний день безотказный и хлопотливый советский вертолёт; слышал добрый его гомон,

чувствовал спиной горячее его дыхание, ярый вкус кубинского “Партагаса”. “Зыбните, тащ капитан”, — заботливо пропихнул сквозь картонные губы “бортач” сигарету без фильтра. Сашка зыбнул. Сладкая бумага. Ядрёный, до нутра продирающий табачок навёл в душе сонный туман.

“Господи! — взмолился Сашка, не выпуская изо рта тлеющий табак. — Почему же Ты выбрал меня? Других мало? Что я сделал Тебе дурного?”

Ответом ему — звуки *Led Zeppelin*, прорвавшиеся из кабины пилотов, — “Лестница в небо”:

*And my spirit is crying for leaving...*

## II. Антиохия. В год консульства императора П. Лициния Галлиена IV и Л. Петрония Тавра Волусиана (261 год)

Даже в утлом храме, обустроенном в меловой пещерке за городской стеной, Иустина чувствовала себя покойно. Деревянный крест, сооружённый из двух ветвей старой акации, высился теперь у восточной стены, укреплённый у основания несколькими камнями — вечно холодными, когда опускаешься пред ними на колени. Крест же, напротив, чудесным образом источал тепло человеческого тела. Тусклый мерцающий свет глиняных масляных лампадок освещал кувшины с вином и несколько хлебов, изготовленных для евхаристии, людей в светлых одеждах, среди которых двое — нынешний епископ Анфим<sup>41</sup> и диакон Феликс — сыграли в жизни девушки совершенно особую, сакральную роль.

Именно от одноглазого каторжника впервые услышала Иустина житие Спасителя, услышала совершенно случайно, когда тот плавленным июльским полднем укрылся на скамейке под кронами старой сосны возле их дома и попросил испить водицы. В благодарность за кувшинчик воды из глубинной прохлады колодца путник поведал девушке о Пречистой Деве и непорочном Рождестве Её Сына. О чудесах, Им свершённых и ежедневно по сей день свершаемых. О страданиях Его крестных. Распятии. Воскресении. И Апостолах Его, разошедшихся по всему свету, чтоб нести людям благодатное слово Его. Красивую историю рассказал одноглазый. Христос совсем не походил на далёких во всех смыслах античных богов. Не прятался по олимпийским вершинам. Молний не метал. Людей не страшал. Жертв кровавых не требовал. Любил. Всех прощал и, прежде всего, самых заблудших. Жил и проповедовал неподалёку, в Иудее, до которой на быстром судёнышке всего-то два дня пути. Да и жил сравнительно недавно. Внуки современников Его ещё живы. А уж Гологофа, на которой Его распяли, стоит и поныне. И крест где-то хранится, должно быть. Вера Христа была осязаема. А потому жива. Её можно потрогать. Коснуться не только сердцем. “Кто не любит, — повторил одноглазый слова апостола, — тот не познал Бога, потому что Бог — это любовь”. И эти простые слова озадачили Иустину. Те, в кого она верила прежде, требовали послушания, внушали ужас, гневались, унижали. Христос звал её душу к любви. И находил в душе её согласие. Многого она, конечно, не поняла. Иные поступки Христа, Его притчи, слова и пророчества казались девушке даже безрассудными, вызывали некоторое смущение в её душе, однако сказать о том не решилась, понимая про себя, что слишком мало разумеет, худо знает, а вера её так и вовсе отсутствует. Первый взгляд на Христа породил в её сердце только приязнь, но пока не любовь.

Сперва опасливо, укрывая лицо от соседских глаз домотканой долгополой накидкой, принялась заходить в храм, в то время ещё не осквернённый, живой царящей в нём теплотой. Становилась в сторонке. Слушала со вниманием бархатные песнопения, долгие и чаще всего непонятные молитвы. Восхищалась царившим здесь аскетизмом, делавшим общение Бога с человеком воистину доверительным, лишённым языческого блеска.

Да и сами носители новой веры казались куда чище, смиреннее, добрей большинства язычников-горожан. Заходила теперь в храм всё чаще. Кое-кто из прихожан уже улыбался ей, даже не зная её имени и намерений. И она

улыбалась зачем-то в ответ. Одноглазый Феликс, что подвизался в храме дьяконом, неизменно благодарил за тот давний кувшинчик воды, неустанно кланялся ей, отчего девушка испытывала какую-то неловкость. “Такой пус-тяк. А он всё кланяется”, — недоумевала она.

Частые вечерние отсутствия требовали объяснений. Хотя бы в семье. Мама выслушала её со спокойствием на лице, лишь несколько раз удивлённо вскинув домиком брови, когда Иустина попыталась рассказать ей, как умела, о непорочном зачатии и Воскресении.

— Смотри сама, дочка, — молвила озадаченно, — наша вера исчисляется веками. Не станет ли новая наивным увлечением юности?

Отец поначалу даже слушать не пожелал. Разгневанно швырнул о стену греческую амфору с остатками вина. Старик Едесий большую часть жизни прислуживал в местном храме Афродиты, а потому считал себя знатоком женских чар и соблазнов.

— Чтобы я больше не слышал об этих отступниках в нашем доме! — кипятился отец. — А тебе — запрещаю! Поняла? Запрещаю ходить на их богороческие сборища!

Однако прошло всего-то несколько дней, быть может, неделя, как отец тайне от дочери рассказал жене Клеодонии о странном сне, что привиделся ему вскоре после того раздора. Сонм ангелов явился к нему во сне в окружении неземного свечения. Опускались они словно снег — медленно, торжественно. Пахло ладаном. И звук пастушьей свирели сопровождал их полёт. А вскоре явился ему Христос. Ничего не поясняя, не называясь по имени, Он будто начертил Своё имя в стариковском сердце навек. Христос был непостижим. Глядел в душу старца преисполненным любви чистым взором, и душа Едесия купалась в этой любви. И возрождалась вновь. “Приидите ко Мне, — молвил Христос, — и Я дам вам царствие небесное”. Повторяя эти слова для Клеодонии, старик вновь преображался и вновь купался в любви Спасителя, Которого не знал, о житии Его судил понаслышке и уж совершенно определённо в Него не верил.

— Утром ко мне пришли крамольные мысли, — продолжал делиться с женой самым сокровенным Едесий, — а что, если дочка права? Ведь наши идолы сделаны руками человеческими и не имеют ни души, ни дыхания, а потому — каким образом они могут быть нашими богами?

Тем же вечером по настоянию старика и к вящему удивлению дочери направились они в храм всей семьёй. Само их явление, смиренное внимание и почтительность вызвали доброжелательные взгляды прихожан, а у иных даже слёзы умиления. Жрец языческий отворял дверь в дом Господа. Припадал к страстным Его ризам. Одноглазый дьякон заметил семейство одним из первых. Зрачок его единственный излучал лучезарную радость, а сам Феликс вновь кланялся неустанно. Обнимал радушно вошедших, точно был с ними в родстве либо долгой дружбе. Указал дланью путь к самодельному алтарю, возле которого, растворяя руки для дружеского объятия, поджидал епископ Анфим.

Епископ был ещё молод, но уже убелён сединой по самые корни длинных волос, перехваченных на затылке простой верёвкой. Ясный взгляд из-под соболиных бровей. Пегаая густая борода. Не сходящая с уст улыбка. Кошачье прикосновение руки. Всё выдавало в нём человека, мягкого сердцем и нрава смиренного. Касание незнакомого мужчины обычно влекло за собой жаркую волну в сердце девушки, но, когда её обнял за плечи епископ, сердце Иустины наполнилось уютом и доверием. К этому человеку, к прочим мужчинам и женщинам в светлых одеждах, что улыбались ей навстречу.

Отец тут же поведал епископу о чудесном явлении Спасителя, и тот, возторгаясь услышанным, как если бы это чудо случилось с ним самим, но ещё более тем, что вслед за одним чудом произошло и иное — обращение в христианство языческого семейства, — впопыхах, без обычного для этого поста, без положенного испытания для оглашенных, предложил им принять Таинство Крещения, а затем причаститься Святых Тайн.

Всю свою недолгую жизнь, до самого последнего вздоха, будет хранить Иустина, словно драгоценный самоцвет, воспоминание о считанных минутах



того перерождения. Бархат молитвенного слова. Возложение епископской длани, от одного касания которой всё её тело до самой последней клеточки исполнилось неизъяснимой чистотой, сметающей с души не то, что пятнышки, но даже пылинки греховных помыслов. Серебристый всполох креста. И вслед за тем всполох в сердце, озаряющий прошлую её жизнь, как если бы перед смертью, когда в одно мгновение мчится она перед мысленным твоим взором. Студь крещальной воды. Сперва на макушке. Затем на плечах. По телу. От холодных струй душа скоро сжимается в горсточку. И нет сил вздохнуть. Только выкрикнуть Его имя. А затем — подкопченная пряность свечных огарков. Сладость ладана. Благоухание мира на лбу, глазах, губах, ушах, руках и ногах — запах чарующий, исходящий будто из кушей райских. Или же к ним возносящий. *“Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; — произнёс над нею величественный глас епископа, — все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе”*<sup>42</sup>.

Ночь обрушилась на город с южной поспешностью. Редкие горожане спешили домой, сбивались в стаи собаки да неприкаянный люд. Жарко пахло матовыми соцветиями розовых магнолий, распустившихся в этом году прежде обычного. Пахло жареным арахисом и розовым маслом. Трещали сумасбродно цикады в городских садах. Стучали посудой кухарки. Капризничали дети, не желавшие отправляться в гости к Морфею. Отходящие ко сну горожане не ведали, даже представить себе не могли, что кто-то молится за них сейчас, просит Всевышнего, которого они пока тоже не знали, не ведали, о заступничестве, здравии, умиротворении, помощи в добрых делах. Что кто-то, пусть и незнакомый, любит их без всякого помысла корыстного. А если бы и узнали, всё равно не поверили бы в подобную щедрость человеческой души. Слишком немощны были. Согбенны духом.

По окончании общей молитвы, слова которой они едва ли могли повторить, епископ пригласил новых христиан к столу, вытесанному из широких плах ливанского кедра, на который братья и сёстры уж выставили глиняные кувшины с красным вином и ворох опрессенок с россыпью подпалин. Расселись. Однако одно место за столом так и осталось пустым, но лишь видимо, как шепнул на ухо Иустине одноглазый дьякон. Незримо же Сам Христос восседал сейчас вместе с ними на этой вечере любви, именуемой здесь агапа<sup>43</sup>.

С хрустом ломая пласты хлебов, разливая по простым глиняным чашкам густое от сладости вино, епископ Анфим шептал едва слышно анафору, претворяя их великим и промыслительным образом в Тело и Кровь Господню. И заключил евхаристическое священнодействие славословием совсем кратким: “Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь” — его он возгласил в полный голос. И вслед за епископом каждый из сидящих за столом перекрестился и повторил возгласение истины.

Иустина, отец её старый и мать тоже перекрестились, ощущая, пока совсем смутно, ещё одно грядущее переживание. И повторили следом: “Аминь”.

— *И когда они ели, — молвил епископ, глядя им прямо в самое сердце, — Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Моё. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов*<sup>44</sup>.

Свершаемое здесь и сейчас таинство евхаристии в первозданной своей простоте и естестве, происходящее всего-то через два столетия с небольшим после Тайной вечери Спасителя и в точности её повторяющее, словно накрыло Иустину волшебным дождём. Ощущением беспричинного счастья. Радости неизъяснимой. Она улыбалась теперь, как улыбалась и светилась, быть может, только в раннем детстве — без всяческой на то причины, но потому лишь только, что сердце и душа полнятся неземным светом. Много позже из долгих разговоров с дьяконом и епископом уяснит себе Иустина, что свет этот — есть сам Христос, что чудесным образом входит в тебя через это таинство. И настолько милостив, что будет входить в тебя каждый раз с принятием Святых Тайн. Сколько бы ни оскорблял Его человек греховностью

своей жизни, сколько бы ни предавал Его, ни распинал Его образ в сердце своем, всякий раз, сподобившись евхаристии, человек будет вознаграждён этим светом. И надеждой на будущее спасение. До последнего его дня. Божественное присутствие она старалась хранить с тех пор, словно бесценный дар, неделями и месяцами, покуда голос Христа от внешних, но более внутренних сомнений, помыслов, раздумий не становился всё тише. А ему на смену сразу же приходили иные зовы — порочные, греховные. Пост и молитва могли их одолеть. Исповедь и новое причастие.

И вот со дня первого принятия Святых Таин прошло уже больше года.

Отец её Едесий, быть может, по причине прежнего своего необузданного язычества, но, скорее всего, по Промыслу Божьему настолько крепко привязался душой к Спасителю, настолько истово отдавался молитве, посту и служению, что епископ Анфим возвёл его в пресвитеры. Но только пресвитерство его оказалось недолгим. Сам Владыка мира всего через полгода призвал его служить в райских кущах своих. Отошёл он ко Господу в полном телесном здравии и рассудке. После вечерней коленопреклонённой молитвы в собственном доме. Во сне.

А вскоре, прямо посреди литургии, в храм вломилась солдата. Демонстративно бряцали оружием. Сквернословили в голос. Харкали кислой слюной на святыни, тщетно стараясь спровоцировать прихожан, и от их спокойствия и неколебимости духа распаляясь ещё сильнее. Их старший, судя по выговору, финикийский наёмник, надменно зачитал указ о закрытии христианского храма и запрещении в служении не только пресвитерам и епископам, но даже христианам без всякого чина и звания. Выдавливали прихожан на улицу силой, тесня их щитами, короткими древками копий подталкивая. Ни сосудов для причастия, ни чаш, ни крестов взять не дозволили. Храм опечатали. Стражу поставили. Но ведь сказано же: “ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них”. Стали служить в домах поначалу, а когда и самые большие из них перестали вмещать верующий люд, отыскалась за городской стеной, в месте диком, в месте тайном тихая пещерка, она и сделалась новым храмом христианским.

...Скользкий взгляд сирийца Иустина впервые почувствовала на себе чуть больше недели тому назад, когда возвращалась с рынка с поклажею свежей окры, моркови, травы ароматной, пользительной, огурцов сочных и глянцевого, ещё живого угля в плетёной тростниковой корзине. Юноша смотрел на неё неотступно из-за угла известной на всю округу своими оргиями таверны Леокадии. И от его взгляда холодом обнесло девушку. Прочла про себя молитву спасительную. И вскоре забыла. Однако дня через два вновь споткнулась о взгляд молодого сирийца, входя в город вместе с другими прихожанами после вечерней службы. И хорошо, что была не одна, поскольку в глазах его прочла она куда больше решимости, чем прежде. Куда больше вождения. Куда больше страсти. Глаза юноши светились нездешним огнём, но не огнём спасительным и кротким, какой она уже научилась различать в людях, но липким и душным, будто полуденный зной пустыни. Губы его вытягивались в улыбке. Слишком приторной, чтобы в чистоту её можно было поверить. На утро следующего дня дикой кошкой вынырнул он из тисовых зарослей и прижал её к тёплой коже старого платана. Иустина вскрикнула от неожиданности. Но тот ладонью зажал её рот.

— Не кричи, милая Иустина, — прошипел парень, склоняясь близко к её лицу, — я худого тебе не сделаю. Только выслушай. Умоляю!

А поняв, должно быть, по взгляду её, что выслушать готова, ладонь убрал, принялся говорить о своей страсти. О том, что, увидав её всего лишь раз, потерял он покой. Сон неидёт. Рассудок возбуждён поиском хотя бы мимолетной встречи. Сердце ноет. И все мысли, все переживания — только о ней одной. Сказал, что зовут его Аглаид. Добавил при этом, что из семьи он знатной, зажиточной. Так что в случае, если Иустина соблаговолит, ни в чём нуждаться не будет. Пусть только улыбнётся. Обнадёжит хотя бы. Но Иустина только сочувственно улыбнулась ему в ответ.

— Мне очень жаль тебя, достопочтимый Аглаид, — отвечала она смиренно, — но я отдана другому.

— Другому! — воскликнул юноша, готовый тут же схватиться за короткий свой меч, чтоб вступить в схватку с соперником. — Имя его скажи!

— Жених мой — Христос? Ему я служу и ради Него храню мою чистоту. Он и душу, и тело мое охраняет от всякой скверны.

— Христос, — засмеялся парень, очевидно считая, что вымышленный этот иудей, который был распят два столетия назад, не может быть ему не то что соперником, но даже сказкой на ночь, достойной уважения легендой. — Но Он-то там, — показал рукою на небеса, — а я здесь, рядом. Меня даже можно потрогать. И даже родить от меня детей. Вряд ли Христос дарует тебе потомство.

— Не угрожай себя словоблудием, достопочтимый Аглаид, — отвечала девушка с улыбкой. — Моё решение неизменно.

Взгляд его мигом исполнился гневом. Да таким, что отравил мёд прежних слов. Оттолкнул её небрежно. Очами сверкнул. Теперь уже и мстительно.

— Я ведь так просто не отступаю, — молвил Аглаид, — попомнишь да крепко пожалеешь об упрямстве своём.

Угрозы его исполнились скоро.

В тот вечер ушла она со службы прежде обычного в помощь прихворнувшей матери. Клеодонию лихорадило. Третий день душил сухой кашель. Ещё по пути в храм Иустина купила у бродячего фармакопопы кустик ромашки, немного корня солодки и несколько пышных стебельков чабреца. Дома всё это следовало истолочь в ступке, заварить крутым кипятком да поить отваром маму. Вот и уймётся кашель.

Шла, задумавшись о грядущем врачевании, о сбережении отцовского состояния, таявшего в неумелых женских руках стремительно, об уходе за садом, который после кончины Едесия пришёл в упадок: зарос осокой, дурной травой, захламел сухостоем и мёртвыми ветвями деревьев. Хоть и с прислугой немногочисленной, но двум женщинам без мужчины всё одно тяжко приходится.

Улочка, которой брела она к дому, хоть и была хорошо знакома, но нынче совсем темна, пустынна. Даже серебряный денарий Луны упрятался за кудлатые тучи, неспешно плывущие по агатовому небосклону. Шаги Иустины пусть и были легки, всё же отзывались лёгким шорохом кальцей по мостовой. Глаз кошачий сверкнул в переулке и исчез в чреве ночи. Встрепенулось сердечко девичье. И пустилось в галоп, когда заметила она в конце переулка три тёмные тени. Были они как бы размыты. Туманны. Исполнены мраком. Ужасом истекающи. Обернулась назад в поисках пути к отступлению. Но и позади неё — те же тени. Только больше их. Гуще строй. Прижимая корзину к груди, словно бы защищаясь ею от тёмных призраков, закричала в голос о помощи. Однако те оказались проворнее. И не призраками были, а, что хуже, людьми. Подскочили стремглав. Заломили ей руки за спину. Плащ шерстяной одного из них раскрылся нечаянно. А под ним — Аглаид.

— Говорил я тебе — пожалеешь! — прошипел насильник, но в ответ получил плевков в рыло и удар в пах.

Пока по земле угрём извивался да верещал по-бабьи, пока остальные насильники пытались Иустину обуздать, то в одном, то в другом жилище обок проулка зажглись огни. Обеспокоенные вознёй и криками люди, вооружившись кто печной кочергой, кто топором, а кто и солдатским боевым мечом, с факелами в руках высыпали на дорогу. Тут и насильников натиск ослаб. Отпустили девушку. Вновь сбились в тёмную свору. Подобрал плащи и ушибленного в причинное место товарища, подались от греха и людского гнева подалше.

Иустина — в платье, местами треснувшем, местами оборванном, с лицом раскрасневшимся, гневным, с волосами распущенными, сбившимися, всё ещё тяжело дышала. С перепугу от едва не свершившегося насилия полнились слезами глаза. Она затравленно смотрела на окружавших её людей, на огонь факелов, на суровые в неведении своём лица, силилась что-то сказать, но горло сжимал скользкий и упругий ком — только кивала в ответ благодарно. Корзинка её с рассыпавшимися кустиками ромашки, раздавленными стебельками чабреца валялась поодаль в сточной канаве. Прихватив её

быстро, судорожно прижала к груди и стремглав помчалась по улице в сторону отчего дома.

Мать ещё не спала. Масляная плешка возле ложа её коптила густо, так что первым делом Иустина окоротила фитилек, пальцами коснулась огня. Ожила лампадка, освещающая комнату, лежащую под шерстяными одеялами мать, фрески на стенах, изображавшие освобождение Андромеды, мозаичный пол с дельфинами, кружку с остатками утреннего питания. Услышав торопливые шаги дочери, Клеодония обернулась ей навстречу. Подняла взгляд. И чуть было не вскрикнула от ужаса.

— Всё обошлось, мама, — проговорила Иустина, опускаясь на колени перед её ложем. — Господь сохранил меня даже в волчьей стае. Твой агнец невредим и цел. Но это, я чувствую, только начало.

### **Кондак 6**

Проповедник истины Христовой явился еси, славный священномучениче Киприане, поревновавый боговидцам апостолом, просвещаая люди Христовым учением, они же, познавшие Господа Иисуса Христа, поют Богу: Аллилуиа.

### **Икос 6**

Возсия в сердце твоём свет Божественныя благодати, Киприане, вознесе тя на высоту духовнаго совершенства, сана священническаго достигший, а послежде во епископа посвященный. Сего ради молитв твоими ко Господу просвети и наша сердца, тепле молящихся ти: Радуйся, во епископа посвященный; Радуйся, на высоту орла вознесенный. Радуйся, граде, верху горы стоящий; Радуйся, светильниче, пред Богом горящий. Радуйся, молитвенниче к Богу неустанный; Радуйся, учителю, Богом дарованный. Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## **12. Баграм. Февраль 1984 года**

Дешёвые индийские духи вывернули сознание. Дурман этот, настоящий на жжёном сахаре, эссенциях сандала и гибискуса, исходил от крупнопопой девахи в медицинском халате, что копошилась где-то возле его ног. Запах сладкий до рвоты. И Сашку вывернуло наизнанку. Одной слизью. Деваха вспорхнула проворно. Сопли ему утёрла. Слюну и слизь. Улыбнулась добросердечно, словно не издыхающий паренёк перед нею, а сказочный принц. Лицо у неё широкое, скуластое, в россыши конопушек неярких. Рыжая прядка из-под косынки. Глаза цвета привядших васильков. Из вологодских или ярославских краёв, должно быть. Выговор напевный, тамошний: “Потерпи, миленькой, потерпи, соколик...”

Покуда тащили до борта, эвакуировали вертушкой к медсанбату, кровушкой изошёл боец основательно. Не меньше трёх литров из него утекло. Крови тёмной, вязкой от горного воздуха. Ну, и от самопального жгута из антенны по прошествии времени — один лишь вред. Колет сестричка с чудным именем Серафима, прежде чем жгут этот снять, длинной иглой чуть не до самой кости футлярную блокаду тримеканином. Трубки пластиковые в его вены изливают теперь и натрия хлорид, и глюкозу пятипроцентную, и литровая бутылка полиглюкина наготове. Но как ни коли его животворными этими жидкостями, всё одно, растерзан капитан. Жизнь из капитана капля по капле уходит.

Кафельная плитка на стенах, люминесцентная дрожь лампы дневного света, цинковый таз с окровавленным хламом, милые веснушки Серафимы, что кажутся теперь подсолнухами, — всё это кружится в Сашкином сознании вёртко, неукротимо. И гаснет Божий свет.

Очнулся вновь оттого, что Серафима тычет ему в ноздрю нашатырную ватку. А возле ног и дядя какой-то уже толчётся. Здоровый такой дядя. Жилитый. Из тех, что и в репу, если что, двинет. Глаз у него ядовитый да насмешливый. Глядит на оторвыши его геройские без всякого сожаления.

— Давление? — скрежещет связками дядя.

— Девяносто на пятьдесят, — отзывается Серафима.  
— Пульс?  
— Сто двадцать.  
— Гемоглобин?  
— Шесть.  
— Во вторую его, — рубит дядька и, вроде как посмеиваясь, выходит вон.  
— Хирург наш, Петрович, — сообщает Серафима. — Повезло тебе, сокол. Он тут у нас светило! Если скажет голову отрезать, а потом обратно пришить, соглашайся.

По коридору госпитальному, узкому да гулкому с грохотом металлическим волочёт его сестричка. С трубками в венах. С дырой в плече. С оторванными ногами. Со взглядом припадочным от всей той дури, которой его накачали. На стеночке — плакат. Розовощёкий воин как на свидание собрался, а не на бойню. Хотя и автомат за плечом, и разгрузка вполне боевые. Позади паренька — цветущие сады. Горы. Понизу — надпись: “Я учусь у Родины быть добрым. Я учусь у Родины быть чутким”. А по стеночкам-то коридорным — всё брезентовые носилочки и такие же металлические каталки. Лежат на них чуткие бойцы Советской армии. Стонет коридор. Морфия пропит. Утку. Воды. Мамку. Другие уже покойные. Тихие. Такими же вот казёнными простынями прикрытые с головой. Вот и навстречу “транспорт” грохочет. А на нём — сразу и не понять, до того неказист и крошечен — ребёночек туземный, искалеченный. Может, мину для шурави мастерил или на нашу напоролся, только ручки ему оторвало по самые локотки, личико осколками посечено, глаз выбит. Перемотаны культы бинтами. Глазом единственным сливовым глядит неотрывно в глаза Сашки, словно призывая того дать ответ на простой, как вечность, вопрос: за что?

Видно, так и выглядит Чистилище. Душное до липкой испарины. Напоенное мороком камфоры и фенола, мёртвой и оживающей человеческой плоти, духом горести и страданий. Пахнет, будто в насмешку над болью и смертью, гниющими яблоками и огурцами, доставленными из Союза шефами из комсомольских бригад. Вывает голосами, стонами людскими, настолько порой отчаянными, настолько скорбными, что хочется зажать уши, мчаться без оглядки, не слышать, бежать от всей этой боли, разлитой над каждой койкой, каждой каталкой в гулком коридоре. Но ведь стонут тут не только солдатские глотки. Стонут взгляды. Стекленеющие слезами глаза, в которых и отчаяние, и смятение, и боль нутряная, по сравнению с которой даже дыра в пузе, даже оторванная нога — ничто. Боль эту сердцевинную морфием не унять. Возвращается вновь. И будет саднить тягостно, заживать ещё долгие годы.

Но, как и в настоящем Чистилище, суть которого и состоит в том, чтобы омывать и соскребать человеческие грехи, а затем отправлять христианскую душу в райские кущи, баграмский медсанбат тоже временами отзывался мальчишеским смехом, прибауткой, песней бравой. Выздоровливающий народ соседствовал с народом страдающим. Обожжённый до горелой корки лётчик с глазами, полными чёрных слёз. Женоподобный мальчик без обеих рук в размышлениях о собственной никчёмности и, как следствие, о лёгком самоубийстве. Трижды штопанный хирургами старшина мотострелкового взвода в поисках чарса и бесхозной “ханумки”, которую, придерживая рукой бинты, а под ними — свежие швы на брюхе, можно прижать да приласкать где-нибудь в уголке душевного медсанбата. Жизнь и смерть здесь сплетались по-братски. Являли собой квинтэссенцию человеческого бытия от самого сотворения мира.

В операционной — два стола. Две лампы, что не отбрасывают тени. Аппарат ИВЛ. Часы с циферблатом крупным. Тазы эмалированные в углу. Шкафы со стеклянными дверцами. Стойки под капельницы. Пластиковые упаковки с плазмой и кровью. Густо несет йодом. Первомуром кислотным. За недолгий путь до операционной успела рассказать добросердечная Серафима и короткую свою биографию, начавшуюся в деревне Пески Вологодской области в простой семье тружеников села, где помимо неё ещё трое девок мал мала меньше, а батю, егеря, прошлый год задрал медведь, а мать —

доярка, ударник коммунистического труда. Да трудом, хоть и ударным, орavu такую без мужика разве поднимешь? Вот и продолжилась биография Серафимы в интернате города Череповца. А оттуда уже — в медицинское училище, где на ту пору имелась общага. Училище готовило медсестёр широкого профиля. Так что трудолюбивую словоохотливую деревенскую девушку ожидала работа по распределению — в районной больнице. А там, глядишь, со временем, может, и квартиру дадут. Да тут война. Местный военком агитировал страстно. Вот Серафима и записалась в вольнонаёмные. А поскольку дальше Вологды никуда прежде и носа не совала, война эта казалась ей тем самым счастливым случаем, каких в жизни человека раз-два — и обчёлся. К тому же и не сравнишь опыт медицинской сестры на гражданке с опытом военным. Однако за неполных одиннадцать месяцев службы медсестрой операционно-перевязочного взвода сперва в кандагарском госпитале, а потом и в баграмском медсанбате, переболев “брюшничком”, побывав даже на “боевых”, где первая медицинская помощь не то что в медсанбате, а под вражьим огнём, на брюхе, от дувала к дувалу перебежками; заработав под Рухой лёгкую контузию, когда неподалёку от неё разорвалась граната, энтузиазма у Серафимы поубавилось. Выздоровливающие бойцы пытались тискать её в сумерках медсанбата, а некоторые и до сестринского модуля добирались, сулили “чеки” за ночь любви, но больше упирали на сострадание к героическим их увечьям и бутылку кишмишевки. Сердце русской девушки Серафимы хоть и вздрагивало порой от неумелых этих домогательств, но не сдавалось. “Без любви — не целуй”, — учила мама. Вот она и слушала её. Хоть бы и издаля. И собственное сердечко, конечно. А оно, проклятое, молчало. С каждым раненым, а особенно с каждым скончавшимся на её руках бойцом сердце её грубело, нарастало мозолью и уж не ощущало той радости, той свежести и любви, какую дарует всякой живой душе юность, какой полнится девичье естество для воссоздания новой жизни. Опустошилась Серафима нутром. Измочалилась, как говорили про таких в северной её деревушке на берегу привольного Кубенского озера. Измочалилась, но не унывала. Катала без устали громыхающие каталки. Резала портки. Мыла солдатские тела со всеми их причиндалами, какими их и мамки родные не выдали. Ворковала. Вселяла надежду в сердца.

Мёртвый и раненый боец, даже и без некоторых частей своего тела, тяжёл непомерно. Впрочем, девчата тутотшные скоро учились перетаскивать их десятками. Надсаживали при этом поясницы, стирали хрящи, давили утробы. По молодости лет ущерб этого для собственного здоровья, что аукнется им через двадцать, тридцать лет, по счастью, не разумели. Вот и Сашку Серафима с операционной сестрой перетаски с каталки на стол справно.

А тут и врачи заходят. Первыми, конечно, сестрички в поддержку хирургам и анестезиологам, что будут предстоящие час или два не хуже солдат на поле боя пластаться за жизнь человеческую. В сражении со смертью, которая, кажется, как никогда близко — мерещится за их спинами в ожидании скорой добычи, льнёт к распластанному телу в предчувствии последнего поцелуя.

Вслед за сёстрами — анестезиолог. Крепкий коренастый грузин. Лицо кавказской национальности. Выдающийся во всех смыслах шиобель под хирургической маской. Лапы здоровенные — перчатки внатяжку. Взгляд орлиный. Зато голос — чистый бархат. Таким голосом не только “Сулико” исполнять, но хоть “Цинцкаро” и “Манану”.

— Вахтанг Георгиевич, — кокетничает с грузином сестричка, — вы на “Любовь и голуби” пойдёте? Завтра крутить будут.

— Нэ пойду, дорогая. Какой кино, слушай! Спать буду.

— Очень жаль, — сердится сестричка и колет Сашке правую вену, чтобы погнать по ней первую дозу доксакурия, — придётся идти с начмедом. Давно зовёт.

— Слушай, зачем сравнивать! Канэшна, иды. Такой чэловэк! Начмэд. Вах! — и обращаясь к Сашке: — Слушай, малчык. Будэт калот. Там, гдэ ноги. Патом више и више. Ты нэ бойса, бичико. Это нормально. Давай барашка счыгат. Раз барашка. Два барашка...

На седьмом барашке в операционную вошли Петрович вместе с ассистирующим хирургом. В стерильное облачённые. Изготовленные к работе, которая новость сколько продлится и чем закончится.

На десятом барашке уже и лицо покалывало. На двадцатом, как сквозь туман, закричели связки Петровича:

— Время семнадцать ноль-ноль. Начинаем.

Последнее, что почувствовал Сашка, — яркую вспышку лампы и тугую трубку во рту.

Потомственный русский офицер Владимир Петрович Ерёмченко мог проследить свою родословную аж до восемнадцатого века, когда пращур его, поручик Василий Лесковский, сперва громил отряды польских конфедератов, а впоследствии и собственных смутьянов под водительством Емельки Пугачёва, коих кромсал без устали и в Бузулуке, и в Уфе, и в Оренбурге. Бился и с басурманами. Даже бригадира их Салавата Юлаева взял в полон, за что генерал-аншеф Пётр Иванович Панин самолично произвёл его в капитаны.

Внук капитанский сражался при Бородине в составе Второго кавалерийского корпуса генерал-майора Корфа и пал смертью храбрых от французского штыка во время рукопашной при защите батареи Раевского.

Ближние предки Петровича сражались впоследствии за Врангеля в Крыму и за Блюхера по ту сторону Перекопа. Бились друг с дружкой, быть может, даже в одном бою, быть может, даже целясь друг в друга, да по милости Божьей в мясорубке гражданской войны уцелели. Один ещё несколько лет будет клясть евреев и продажность русских в Париже, покуда не скончается от чахотки в самом начале тридцатых годов. Другой пройдёт Военную академию РККА, доберётся до полковничьего чина, а с началом новой войны возглавит мотострелковый полк 30-й армии Западного фронта. В той же армии воевал и сын его Петя, выпускник Военно-медицинской академии Красной армии им. С. М. Кирова. Капитан медицинской службы. Вяземский котёл, в котором доблестные наши военачальники сварили заживо поболее трёхсот тысяч солдат и ополченцев, а ещё шестьсот тысяч ребятишек и мужиков угодило в фашистский плен, навечно останется в анналах отечественной военной истории как памятник преступному разгильдяйству, презрению к собственному народу и надменности барской его вождей. Угодил в котёл и Пётр. Медсанбат его вместе с ранеными ювелирно изничтожила фашистская авиация. Капитан, по счастью, в бомбёжке этой выжил, хоть и на оба уха временно оглох. Шёл с ещё несколькими бойцами лесами незнамо куда. Нарывался несколько раз на немецкие патрули. Терял этих самых бойцов. И снова шёл, словно тать в ночи. Не хозяин земли русской. Но изгой. Преследуемый и гонимый. Полковник тем временем вместе с остатками своего полка отступал по октябрьской грязи в сторону Можайска и не чаял встретить сына живым. Он зашил. Пьяным грозился перейти в контрнаступление. Пьяным умолял командующего отправить его на прорыв кольца простым солдатом. Но всякий раз получал отлуп и приказ хорошенько проспать. Он и проспался. Умер во сне. Редкая смерть на войне. Почти предательская.

А вот Петя из окружения всё же вышел. Прошёл, как и положено, фильтрацию НКВД, был отправлен на Ленинградский фронт, где к тому времени фашисты как раз сомкнули блокаду.

С того дня тянул тягостную лямку службы в военно-полевой хирургии до самого конца, до августа сорок пятого, когда уже и немец капитулировал, и тут упростила Родина возглавить медсанбат 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, что освобождал от самураев Манчжурию и Корею. Удача редкая: вернулся Пётр с войны без единой царапины, если не считать сломанной в Будапеште ноги. Зато в чине подполковника. С иконостасом на кителе, поскольку оперировал без дыхания бесконечных пять лет.

Сын его Володя появился на свет уже после войны, в сорок седьмом, от счастливого брака с юной медсестрой хирургического отделения Красноармейского военного госпиталя Ленинграда и, таким образом, обречён был повторить судьбу доблестных своих предков. Родительская квартира на улице Марата неподалёку от кондитерской фабрики Крупской, где по утрам,

особенно в зимнюю пору, так сладко и тепло благоухало расплавленным шоколадом, 9 Мая, как и в другие праздничные дни, наполнилась благодарным народом всеяческих званий и заслуг перед Родиной. Пили за золотые отцовские руки, а некоторые чрезмерно экзальтированные генералыши так и вовсе их натурально лобызали. Пили, конечно, за Победу. За павших бойцов. Слезы лили. Пели песни под гитару да под баян: “Землянку”, “Где же вы теперь, друзья-однополчане?”, “Вставай, страна огромная...”. И с музыкой этой, со слезами взрослых возрастало в мальчишке незабываемое и поныне чувство сопричастности к великим вехам великой страны, имя которой СССР. Страны, за которую сражались и отдавали жизни все эти люди. Страны, за которую, если потребуется, и он отдаст жизнь без малейшего колебания. Страны, от одного имени которой, от гимна, от просторов этих от моря до моря, перехватывает дух. И — мурашки по коже.

Помимо почитания военно-полевой хирургии, родители обучили его главному. Крепко любить свою Родину. Хранить верность присяге воинской. Пуще ока беречь офицерскую и человеческую честь. Пахать не за награды, а за совесть. И не роптать.

С этими жизненными установками окончил Володя ту же самую Военно-медицинскую академию, что и отец, отслужил несколько лет в гарнизонном госпитале на Дальнем Востоке, оттуда перевёлся в Челябинск возглавлять медсанчасть ракетной дивизии. Да вот беда, руководящая работа ему претила. Ему бы войны. Тут и она подвернулась.

Всего лишь за годик с небольшим в кабульском госпитале, а затем и в баграмском медсанбате столько же бойцов штопал да латал — не счесть. Война ведь калечит без разбора возраста, званий и боевых заслуг. Бывает, как вот у собственного его отца, — за всю войну ни единой царапины. А бывает, в первом же бою становится боец инвалидом. Или, хуже того, за неделю до дембеля. Нет, не доблестные командиры и звёздные военачальники управляют войной. Сам Господь Бог и сам Сатана командуют ходом военных действий. К такому вот теологическому выводу пришёл Петрович на втором году боевых действий в Афганистане. Для майора медицинской службы, как и для остальных советских военврачей, война эта стала не то чтобы второй академией, но наивысшей школой, в которой выковывалось и возрастало врачевательское их мастерство. Словно ангелы небесные, поднимали и воскресли переломанных, искорёженных бойцов эти циники, пьяницы и сквернословы. Сотнями, тысячами, десятками тысяч. Как тут вновь не вспомнить про замысел Божий!

Нынешний капитан на операционном столе был ничем не лучше остальных. Быть может, даже хуже, поскольку по его душу уже звонили из штаба армии. Произносили громкие имена. Поясняли, что у парня на этой войне погиб отец. Так что желательно его побережь. Сохранить что только возможно.

Да что там сохранишь?! Ещё в сортировочной, едва взглянув на ранение, Петрович сразу же прикинул предстоящую операцию. Мина, судя по всему, самодельная. Корежила человечесью плоть ударной волной в несколько тысяч атмосфер со скоростью не меньше двух километров в секунду, жаря её огненным газом и так называемыми волнами упругого напряжения, которые рвут сосуды, мясо, нервные окончания вглубь и вширь человеческого тела, кромсают его “молекулярным сотрясением”, как называл этот эффект отец военной хирургии Николай Иванович Пирогов. Опыт раневой баллистики подсказывал Петровичу, что для такого ранения единственное решение — ампутация. Да повыше. Ткань отмирает стремительно. Следом — гангрена.

Покуда операционная сестричка Наташа густо мазала ноги бойца йодом от колена и до отверстого мяса, покуда накладывала жгуты, Петрович уже прикидывал, высоко ли ноги ампутировать. Тут каждая мелочь важна. И пульс магистральных сосудов, кровоточивость мышц и тромбов в венах. И опыт хирургический, конечно, позволяющий оценить ситуацию, а по сути — дальнейшую человеческую судьбу, предвидеть, как в будущем у парня сформируется опорная культя. Чтобы и кожи, и плоти хватило на то, чтобы хорошенько остаток кости плотью и кожей этими укутать. И не внатяжку.



Поначалу отсёк голень, что держалась на честном слове да двух сухожилиях — ахилловом и длинном малоберцовом. Наташа сбросила её в эмалированный таз, предназначенный для отходов человеческого тела. Таз отозвался глухим шлепком. Дальше черёд ПХО — первичной хирургической обработки, необходимой для того, чтобы очистить рану от мусора, камешков запёкшихся, обломков кости, поставить, где требуется, дренаж, мёртвую ткань иссечь. Самым тяжёлым из всего набора хирургических ножей, ампутиационным, Петрович надрезал кожу “сапожком”, ровно рассёк переднюю большеберцовую мышцу, а там уже и икроножной, и камбаловидной черёд пришёл. Здесь, в срединной части голени, самое средоточие вен, сосудов, окончаний нервных. Резать надо с осторожностью чрезвычайной, и плавно, и жёстко. Впрочем, лезвие отсекало плоть почти безо всяких усилий. Вскоре сахаром чистым и берцовая кость обнажилась. Распатором коротким, что едва умещался в руке, принялся теперь надсекать и сдвигать вверх прозрачную плёнку надкостницы. Субпериостальным способом, как называют это хирурги. Хирургия хоть и похожа в чем-то на столярный труд да слесарный ну и, конечно же, на работу сантехника, инструментарием своим всё же отличается в сторону изысканности и некоторого даже изящества. И подчас веками сохраняет в названиях имена их изобретателей. Мало кто помнит ныне итальянского хирурга Леонардо Джильи, что помогал рожать европейским дамам в конце девятнадцатого века, однако пилой его проволочной пользуются с благодарностью по сей день. Зубцов на ней не имеется. Пилит кости мелкими стальными узелками с ювелирной точностью. Мышцы отверстие не калечит. В обращении проста. И места много не занимает. Так что перешил Петрович офицерскую белую кость за считанные минуты. Опилок с ошмётками некрозного мяса — в таз. Второй хирург, армянин Оганесян, уже наготове. Он в шитье магистральных сосудов и периферических нервов — Диор. Не зря же папа его — лучший портной Нахичевани. Предстоит ему дело ответственное, кропотливое. Резать и перевязывать периферические нервы. Подкожные, икроножные, тиббиальные исчислял по проекции. Перевязывал кетгутовой лигатурой по возможности выше. Колол тримеканином над перевязью. И только после этого отсекал бритвой пониже лигатуры. Можно, конечно, и без вторичного усечения нервов обойтись. Однако вслед за этим появятся спайки, фантомные боли, от которых мальчишки воют волчарами стреляными всю ночь до следующего укола морфина. С сосудами ещё та морока. Их, главное, вязать не туго, но крепко. Потом снять жгуты, проверить: если кровоточит, значит, вновь жгутами кровотоков останавливай да гляди внимательно, где у тебя оплошность вышла, где ты этот сосуд недостаточно крепко перевязал. Иначе — гематома. Гной. Дренаж или ещё хуже — новая операция!

Иссекали фасции. Марлей раны прикрывали. Густо, щедро присыпку имени товарища Житнюка наносили. Кожно-фасциальными лоскутами опил укрывали. Шили наводящими швами. Широко. Дальше — гипс.

За трудами этими праведными не заметили, как час пролетел. Без перекура законного всё нутро Петровича бушует. Под ложечкой посасывает. Пока Оганесян, непьющий, некурящий, капитана штопал, выскочил опрометью в коридор и, перехватив подпалённую фельдшером “стюардессу”, принялся затягиваться горячим и горьким дымом часто, захлёбисто. На всё про всё — минуты полторы. Не более.

— Давление? — спросил у Вахтанга, возвратясь к столу.

— Восемьдесят пять, — ответил анестезиолог. — Падает.

— Ладно, давай вторую, — бросил Оганесяну и вновь взялся за ампутиационный нож, протянутый операционной сестрой.

После того как и вторую ногу ампутировали, давление не стабилизировалось.

— Ты на все сосуды лигатуру наложил? — спрашивает второго хирурга Петрович.

— Так точно. На все. И все проверил. Не кровоточили.

— Где-то подтекает, — покачал головой Петрович, глядя то на распластанного перед ним капитана, то на Вахтанга Георгиевича, который со вниманием следил за стрелкой измерителя артериального давления, неуклонно

клонящейся к восьмидесяти. Осколочное ранение в правом предплечье капитана он заметил тогда же, на сортировке, однако и представить себе не мог, что именно это ранение, а не оторванные конечности бойца поставит перед ним не только хирургическую, но и нравственную проблему. — Смотрим плечо, — велел Петрович.

Послали за рентгенологом. Тот приволок грохочущий передвижной аппарат Арман. Сделал несколько снимков в разных проекциях. И вскоре вернулся с мокрой плёнкой в стальной рамке.

Едва взглянув на неё, Петрович коротко выматерился. Осколок поранил плечевую артерию и зарылся глубоко в двуглавой мышце. Скорее всего, ранение это спровоцировало гемостаз. Закупорило артерию тромбом. А такой, как его ещё называют, спонтанный гемостаз обычно нестабилен. Вот и открылось кровотечение. Рука с повреждённой артерией долго не проживёт. Клинических признаков ишемии на фоне релаксантов, которые пускает сестричка по венам капитана, не понять. А стало быть, и не решить: то ли ампутировать руку, то ли попытаться спасти. Спасти срочно, уповая на Господа Бога и достижения сосудистой хирургии. Стало быть, ещё часа два пахать. Ни вздохнуть, ни пёрднуть.

Сосудистую пластику и в условиях столичного стационара делать непросто, а тут баграмский медсанбат, тут война. И ещё с десяток порубленных, продырявленных мальчиков на подходе. Тут их командиры, требующие спасти ребят во что бы то ни стало. Тут собственное сердце, что не в силах уже сжиматься при мысли обо всех этих единственных сыновьях, мужьях и отцах, о сотнях смертей не в бою, но под твоими спасающими вроде руками. Иные сердца не выдерживают. В модуле медиков спирта всегда в избытке. Но ни спирт не гасит эту боль, ни гашиш с коноплей. Бывает, врачи кончают с собой. И их не осуждает никто. Пишут: погиб при выполнении боевого задания.

Гораздо чаще сердца мозолятся. Как у девушки Серафимы. У Вахтанга Георгиевича. У самого Петровича. Как у сотен иных бойцов военно-полевой медицинской службы.

Вот же — сердце проклятое! Если бы не оно, самым правильным решением для доблестного этого капитана, подорвавшегося по собственной, видать, неосмотрительности на самодельной вражеской мине, было бы открыжить помимо ног ещё и руку. Да только кому он нужен будет, кроме мамки, такой обрубок? Не Родине же, что лишь здоровых, работающих и славящих пользуется с успехом, а вот немощных да убогих на дух не переносит. И уж более всего не нужен женскому полу, который по природе своей ожидает продолжателя рода, стену, кормилица, но никак не иждивенца. Будущее такого бойца предсказуемо и всегда печально. Изгнание из Вооружённых сил СССР по причине инвалидности. Беспрудное пьянство — годами, а страшнее того — наркота, к коей русский солдат на южной этой войне пристрастился быстро и самозабвенно. От страстей этаких пагубных ребятешек выкашивает, что на крестьянском покосе. Из героев да в землю стылюю. В перегной.

Так что спасали руку капитанскую, а следовательно, и всю его грядущую жизнь почти два часа, покуда, наконец, не залатали все дыры, все обрывы и раны заштопали. Тут и Вахтанг Георгиевич лицом просиял: медленно, но стабильно поползла вверх стрелка тонометра, инструментально доказывая, что протечки крови в человеческом организме окончательно устранены, давление стабилизируется помалу и русский офицер, дай-то Бог, вскорости пойдёт на поправку.

— А теперь анекдот! — хохотнул Оганесян, накладывая последние лигатуры. — Чистилище. К Богу, конечно, очередь. Вдруг забегают мужик. Туда, сюда. Мечется. Убегает. Проходит несколько минут. Снова тот же самый мужик. Бегают по чистилищу. Никого не находит. И снова уходит. На третий раз всё повторяется точно так же. Бог, который всё это время за ним внимательно следил, спрашивает архангела: “Кто такой? Что он тут носит-ся?” Архангел смотрит на мужика. Улыбается понимающе и отвечает: “Так это пациент. Из реанимации!”

### 13. Антиохия. В год консульства императора Галлиена IV и Л. Петрония Тавра Волусиана

Смерть и безумие воцарились теперь в его доме. Отец скончался по возвращении Киприана. Словно ждал своего мальчика проститься. Ухватился за шею цепко. Прижался щекой в клочьях седой бороды. Запах старости, густо замешанный на испарениях прелой кожи, кислого пота и прогорклой сладости, ударил в лицо. Поцелуй его был безжизненно сух. Словно древний папирус, прошелестел возле самого уха. И исчез незамеченным. Вместе с ним — отцовская душа. Сын возложил на сомкнувшиеся веки два денария, и отец устался в него презрительным серебряным взглядом.

Мать не заметила смерти мужа, с которым прожила последние сорок лет. Целыми днями восседала она на гулкой террасе, усыпанной палой листвой, перезрелыми плодами айвы и смокв, чей сладкий нектар собирал полчища ос. Взгляд её, обращённый в сторону гор, уж больше года был лишён всякого смысла. Губы, более не знающие кармина, намертво стиснуты молчанием, насчитывающим прошлое лето, осень и зиму. Волосы, хоть и вычесаны аккуратно служанками, безжизненны в сухости и седине беспощадной. И только пальцы шевелились беспрестанно, подобно странным живым существам, угнездившимся на слабых её коленях. Как-то раз Киприан коснулся пальцев матери. Накрыл их своею рукой. Но не унял. Выводком бледных гусениц копошились они под ладонью. Ночью он читал над ложем её всевозможные заклинания, жёг ароматные свечи, чертил магические пиктограммы и даже вызывал к ней демонов, но те разочарованно скрывались из вида, объясняя: не они лишили старуху разума, не им его и возвращать. Утерян он безвозвратно.

Когда надушенное розовым маслом и иссопом умащённое тело отца собрались выносить из дома, Киприан велел нести его мимо матери. Но и тогда несчастная не обратила на труп ровно никакого внимания. По-прежнему шевелила пальцами, истуканьим взглядом вперившись в ближние горы. Процессия двигалась по улицам Антиохии больше часа, втягивая в себя зевак, малознакомых и совсем не знакомых людей. Сатиры изображали добродетели покойного, которых оказалось не слишком много, а самым запоминающимся — выкуп десятка рабов да путешествие из Коринфа. Наёмные плакальщицы оглашали улицы фальшивым воем. Музыканты в синих плащах торжественно выдували погребальные гимны. И ароматный, укрытый тканями и красками напомаженный труп торжественно и величественно возглавлял последнюю процессию к царству мёртвых.

Погребальный костёр взметнулся к небу оранжевым жарким всполохом, будто феникс освобождённый. Опалил брови. Калёным дыханием в лицо плесканул. Прикрывая от жара глаза, отодвинулся Киприан подальше от последнего отцовского гнева, наблюдая со смешанным чувством ужаса и пылливости, как тлеет чёрными подпалинами ткань белоснежного савана, вспыхивает ярко седина волос, пузырится и лопается лоскутами кожа, после чернеет, углится, обретая черты и вовсе не человеческие и уж тем паче не родные.

Огонь пожрал высушенное тело отца скоро, не больше чем за час. И наконец угас. Посреди тлеющих, горячих ещё угольев, посреди пепла и древесной золы отыскал Киприан отцовский череп — тёмный, в разводах грязной копоты и жёлтых подтёках горелого жира. Обмыл его сперва молоком, как требовал погребальный обычай. Молоко вспенилось на раскалённой кости. Зашипело зло. Духовитый пар испустило. Старое вино из глиняной плоти кувшина струилось теперь густой струей по отцовскому лбу, просачивалось сквозь глазницы, сквозь рот шербатый, отверстие в страшной ухмылке, заливающийся им, не пьянея. Здесь были отцовские губы, которые целовали его и учили складывать первые в жизни слова, петь забавные детские песенки, а в дальнейшем декламировали Овидия и Гомера. Были его глаза — прежде густо-ореховые, взглядом проникающие в самую глубину сынового сердца, глаза, которым было невозможно солгать, которые непрестанно искрились добротой и совсем редко — за всю жизнь и часа не набралось бы — сочились слезами. Его лоб, и при жизни крутой, высокий, вмещавший не

только платоновскую онтологию и космологию Аристотеля, но и комедии Аристофана, и подслушанные на базаре скабрёзные шутки простолюдинов. Теперь он был пуст и гулок. Киприан коснулся отцовского лба губами. Ещё тёплого. Ещё хранившего вкус вина с молоком. Но, как всякая кость, чужого. С осторожностью, словно драгоценный сосуд, опустил в урну чёрного обсидиана с золотистым отливом. Туда же отправились обгоревшие отцовские кости. Красивый каменный ящик с костями. Вот и все, что осталось от человека. Всё идёт в одно место, как сказано в Екклесиасте, всё произошло из праха и всё возвратится в прах.

В продолжение поминального пира две служанки после долгих уговоров вывели мать к столу. Налили кубок вина. Несколько сладких смокв, гроздь тёмного винограда и ячменную лепёшку поднесли. Но она даже не взглянула на них. И вина не пригубила. Вдруг обернулась к сыну. Взглядом прояснилась, как если б спала с глаз её шёлковая пелена. Улыбнулась тепло, слегка смущённо.

— Отец зовёт, — проговорила отчётливо и зычно. — Жарко ему. Откройте скорее окна. Несите ему опахала! Холод... — Тут голос её зашнулся. Взгляд вновь заволокло пеленой. Пустились в пляс пальцы, теребя беспрестанно шерстяную тунику.

Аглаид явился к Киприану следующим же утром, когда слуги раздвигали столы, сносили в подвалы лавки, со стуком выбивали скатерти во дворе. Киприан принял юношу в отцовском кабинете, утопавшем в мягком, как топлёное молоко, утреннем свете; переполненном древними и недавно присланными из Рима манускриптами, стопками пергаментов, изготовленных для письма; с мраморным бюстом императора Августа; высохшими букетами в греческих амфорах и кожаными домашними сандалиями, что так и остались лежать возле отцовского ложа, — изрядно сношенными, с оборванной лялочкой у правой. Киприан обнял юношу, ощущая благовоние сандалового масла и душевную растерянность Аглаида, трепет его сердца. Он понимал, какое нетерпение привело того сюда поутру, ещё до окончания траура. И упрекать не стал. Слушал внимательно, не останавливая и не перебивая юношеских упреков и возгласов отчаянных неразделённой любви. Улыбнулся, когда в завершение разговора тот снял с пояса кожаный мешочек, под завязку набитый монетами в благодарность за колдовство. Принял их и ободряюще похлопал юношу по плечу:

— Сделаю так, что сама девица будет искать твоей любви и почувствует к тебе страсть даже более сильную, чем ты к ней.

Уже в ночи, по смене второй стражи, воскурил на террасе медный жертвенник колдовской травой, возжёт светом нездешним — малахитовым, будто дышащим, длани воздел. В заклинаниях его слышались знакомые вроде бы звуки, но, только прислушавшись, да и то не сразу, можно было понять, что читает он на финикийском, причём задом наперёд. На зов этот, схожий с криком гиены, из колодца сухого, высохшего ещё во времена его детства, выбралась тёмная тень. Ящеркой проворной проползла по стене. Поднялась на террасу, с каждым мгновением увеличиваясь в размерах, покуда не сравнялась с крупным козлищем. Поднялась на задние лапы. И поклонилась. Демон был склизок. Кожей тёмен. Вонял отвратно. Мохнат волосом синим, курчавым. В облике его, по виду схожем с человеческим, проглядывали и черты звериные, свирепые: приплюснутое рыло, порванные многочисленным сергами мочки ушей, исчерченная египетской *демотикой*<sup>45</sup> кожа. Пальцы на руках венчали стёсанные медвежьи когти, которыми он то и дело суетно почёсывал то под мышками, то в паху с болтающимся, безжизненно громоздким фаллосом. “Блохи бедолагу зажрали”, — подумал Киприан. И улыбнулся приветливо.

— Нетрудное это для меня дело, — пожал плечами демон, выслушав Киприана, — ибо я много раз потрясал города, разорял стены, разрушал дома, производил кровопролития и отцеубийства, поселял вражду и великий гнев между братьями и супругами и многих, давших обет девства, доводил до греха; инокам, поселявшимся в горах и привычным к строгому посту, никогда и не помышлявшим о плоти, я внушал блудное похотение и научал их

служить плотским страстям; людей раскаявшихся и отвратившихся от греха я снова обратил к делам злым; многих целомудренных ввергнул в любоддеяние. Неужели же не сумею я девицу сию склонить к любви Аглаида? Да что я говорю? Я самым делом скоро покажу свою силу. Вот, возьми это снадобье и отдай тому юноше, пусть он окропит им дом Иустины, и увидишь, что сказанное мною сбудется.

Суток не прошло, как передал Киприан окрылённому надеждой на скорую победу юноше пузатую склянку с чёрным снадобьем, как вновь явился к нему бес. Поклонился, но без всегдашней гордыни. Без бахвальства прежнего глянул. Из повествования его путаного понял Киприан, что поначалу всё складывалось по-задуманному. Аглаид тайно окропил четыре стены, двери и окна дома. И в ту же ночь, лишь только встала Иустина по всегдашнему своему правилу к молитве в три часа пополуночи, как сердце её опутало и пронзило вдруг неведомой прежде страстью. Виделся ей Аглаид. Томный взгляд его волновал сердце, и оно теперь билось учащённо, неукротимо. Тело его молодое, гибкое обнажено. Кожа источает благоухание неземное. А губы сулят сладкую негу, о которой она прежде не помышляла. От видения этого плоть её, и сердце, и душа трепетали осенним листочком на ветру, жаром знойным и хладом снежным ошпаривали, мотыльком ночным перепаривали от сердца в низ живота. Казалось, от страсти внезапной она сейчас лишится сознания. Молитвы разом забылись. И только рука помнила ещё, как творить крестное знамение. Сотворила его, ощущая в каждом движении тяжесть и нездешнюю лому. “Господи Боже мой, Иисусе Христе! — произнесла Иустина то, о чём спасительно подумала только теперь, — вот, враги мои восстали на меня, приготовили сеть для уловления меня и истожили мою душу. Но я вспомнила в ночи имя Твоё и возвеселилась, и сейчас, когда они теснят меня, я прибегаю к Тебе и надеюсь, что враг мой не восторжествует надо мною. Ибо Ты знаешь, Господи Боже мой, что я, Твоя раба, сохранила для Тебя чистоту тела моего и душу мою вручила Тебе. Сохрани же овцу Твою, добрый Пастырь, не предай на съедение зверю, ищущему поглотить меня? даруй мне победу на злое вожделение моей плоти”. Крест, который возложила на себя Иустина и которым освятила затем и комнату свою, и весь дом, вспылками яркими ослепил беса. Попалил синие его кудри. В комнате завяло горелой шерстью и плавленной серой. Бежал бес поспешно. Перхая и сотрясаясь от злости.

Киприан слушал его в рассеянности, осознавая, что, возможно, нынешний его помощник слишком слаб, чтобы совратить молодую христианку. И удивляясь такой её силе, одержавшей победу хоть над мелким, но всё же бесом. Той же ночью вызвал к себе на подмогу нового демона.

Был тот свиреп. И ростом своим, и статью напоминал больше буйвола, нежели козлища. Шкурой дублён. Шерстью укрыт густо, словно медведь иль росомеха злобная. Клыкаст. Когтист. Взгляд окровавленных белков воспалён в ненависти своей. пеной густой и жёлчью горькой брызжет пасть его ненасытная.

Но и тот, хоть и набросился на помыслы Иустины со всей бесовской свирепостью, возвратился через неделю ни с чем. Вновь почуввав приближение похоти, облачилась девица в козью власяницу, что колола тело её тысячами грубых шерстинок, всю неделю вкушала одну лишь воду и беспрестанно, иступлённо молилась.

— Я потому не мог одолеть её, что видел на ней некое знамение, коего утратился, — признался бес сокрушённо.

Редко звал к себе на подмогу Киприан князя бесовского, однако, глядя, как рушатся колдовские козни и тем самым будто собственных сил лишаясь, снова воскурил жертвенник и прочёл заклинания, вызывая к себе отца лжи.

С тех пор как впервые Киприан встретился с ним на Олимпе, дьявол не изменился ни лицом, ни нравом, ни повадками. По-прежнему прекрасен. Участлив. Взглядом мягок, подобно трясине. Но перстни золотые на пальцах его, словно бронза на лютном холоде, примораживают при касании. А пальцы — как у мертвеца. Выслушав Киприана, укорять собратьев своих меньших не стал и обещаниями не утруждался. Укрылся с головой пурпурным

плащом из верблюжьей шерсти с вытканной по нему пятиконечной звездой и исчез без следа.

Возле городского колодца, овейного подземной свежестью, окружённого лужами непрорыхающими и робкими всполохами новорождённого солнца, встретила Иустину следующим утром в очереди за водой благочестивая девушка с дивным кувшином. Яркие рыжие волосы ниспадали из-под скромного платя. Угольный взгляд. Медный браслет на запястье. Разговорились. Сперва о воде родниковой. И вскоре о чистоте душевной. О том, какая может быть дарована свыше награда за соблюдение ангельского подобия.

— Награда для живущих целомудренно велика и неизреченна, — отвечала девушке Иустина, — и весьма удивительно, что люди нимало не заботятся о столь великом сокровище, как ангельская чистота.

— Вот как! — удивлённо вскинула брови девушка. — Но тогда каким же образом мог существовать этот мир, как рождались бы люди? Ведь если б Ева сохранила чистоту, как происходило бы умножение человеческого рода? Воистину доброе дело — супружество, которое установил Сам Бог? его и Священное Писание похвалит, говоря: “Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно”. Да и многие святые Божии разве не состояли в браке, который Господь дал людям в утешение, чтобы они радовались на детей своих и восхваляли Бога?

При любых иных обстоятельствах Иустина, быть может, и не обратила бы на слова её внимания, слова, в общем-то, понятные сердцу каждой женщины и вполне справедливые. Кабы не истязали её душу темные силы все последние дни, не склоняли не то чтобы ко греху, но всего лишь к помыслам греховным, через которые, как известно, распахивают силы бесовские и простолодинов, и правителей без разбору, обрекая их постепенно геенне огненной; не была бы душа девичья настороже, так, может, и подружилась бы с незнакомкой у колодца и в дом позвала. Сторожкость её спасла. И Господь Бог, несомненно. Светом нездешним осветил лицо рыжей, обнажая на мгновение звериный оскал, мутный взгляд душегубицы. Крестное знамение легло на чело и плечи Иустины, а внутренний взгляд оборотился к единственному Жениху, в чьей защите она вновь нуждалась. Расточился тут же князь тьмы. Великолепный кувшин с водой оземь разбился.

— Ужели и ты, князь сильный и более других искусный в таком деле, не мог победить девицы? — разочарованно и даже несколько насмешливо спросил Киприан князя тьмы, когда понуро вошёл тот в его комнату. — Кто же из вас может что-либо сделать с этим непобедимым девическим сердцем? Скажи мне, каким оружием она борется с вами и как делает немощною вашу крепкую силу?

— Мы не можем смотреть на крестное знамение, но бежим от него, потому что оно, как огонь, опаляет нас и прогоняет далеко, — проговорил тот обречённо.

— Такова-то сила ваша хваленая, что и слабая дева побеждает вас! — Киприан отвернулся к окну, за которым уже восходила полная луна.

Не желая расстраивать лучшего из учеников своих и к тому же испытывать позор небывалый, направился князь бесовский к дому Аглаида. Десятка стадиев не доходя, свернул к куче навозной. Чихнул, брыкнул, заурчал по-собачьи и тут же оборотился в образ Иустины. Замысел его был прост и, как обычно, коварен. С одной стороны, он исполнял обязательства, взятые учеником, с другой — восстанавливал бесовскую репутацию в глазах Киприана, ну и, в-третьих, неумную похоть Аглаида удовлетворял.

Ночь звенящая стояла над городом. Шелест сандалий бесовских унял даже ветерок с Оронта, даже треск влюблённых цикад в магнолиях прервал. Задремавшая разом стража не заметила хрупкую девушку в простой тунике, проشمывнувшую в хозяйские покои на втором этаже. И только говорящий дрозд в золочёной клетке на террасе возмущенно заголосил, предупреждая господ об опасности. Но тут же околел. Рухнул на пол клетки, сражённый мутным взглядом князя тьмы.

Крепко спал Аглаид, раскинувшись на широкой своей лежанке, когда в опочивальне его с грохотом опрокинулся бронзовый жертвенник на витой

ножке, что высился возле окна с занавесью из тонкого травяного шёлка. Очнувшись мгновенно, приподнялся в постели, вглядываясь во мрак ночи, едва освещаемый несколькими бронзовыми светильниками, подвешенными на ветвях бронзового же канделябра. И не поверил глазам. Въяве виделась ему теперь Иустина, приближавшаяся к нему в истоме сладкой. Кутаясь в плащ тонкорунный овечий, поднялся он с лежанки, протёр потешно глаза, освобождаясь из объятий Морфея и всё ещё не смея поверить счастью своему долгожданному. И не понимая даже, как с ним теперь обойтись. Иустина-оборотень приблизилась почти вплотную, так что слышен был дивный запах её тела, сладость дыхания. Огонь страсти всколыхнулся от самого сердца юноши. Дыхание придушил. Испариной мелкой да холодной лоб оросил. Отнял дар речи. Обнял девушку сильно, словно возжелал раствориться в ней, слиться с её чистотой. И в ней же с радостью захлебнуться. Губами упрямыми врезался в её губы напористо и горячо. Наслаждаясь чувственной, сочной влагой, робким ответом трепетных лепестков, жаром внезапной близости, упивался он поцелуем долго. Словно путник, блуждавший по пустыне и вдруг вышедший к чистому источнику. Пил и не мог утолиться. Насытись всё же, оторвался от неё и глядел восторженно, не в силах унять гомон сердца, сбившееся дыхание.

— Наконец-то ты пришла ко мне, прекрасная Иустина, — прошептал Аглаид.

И в то же мгновение песком пустынным осыпалась девушка, а песчинки унеслись прочь. Только медный браслет с руки упал на пол и долго кружился, дребезжал по затёртому подошвами мрамору, покуда не стих. Аглаид так и застыл ошеломлённо посреди комнаты, не в силах и звука проронить. Не понимая ещё, какую шутку учинил с ним лукавый, и по неведению своему полагая, что всё произошедшее с ним сейчас — сон. Но отчего тогда этот сладкий вкус на губах? Откуда запах сандала от её волос? И, главное, медный браслет на полу? Опрометью выскочил он из дома, отвесив попутно пощёчин сонным охранникам. И через четверть часа вломился в опочивальню Киприана, где, несмотря на поздний час, курились чудодейственные травы и тростниковое перо скрипело по пергаменту под рукой чародея.

Тот мигом сообразил, кто явился и почему исчез от одного лишь упоминания имени Иустины. Усмехнулся с горечью, явственно понимая, что и сам князь тьмы бессилён оказался перед невестой Христовой, и прикидывая тем временем, не настала ли пора ему самому ввязаться в сражение за непорочную душу Иустины. В одном из пергаментов, что покрывал сейчас египетскими иероглифами, имелось заклинание для обращения в птиц, которое он и прочёл над Аглаидом, осыпая его с ног до головы разноцветным пером, трелями соловья, зернами ячменя, мелким щебетом зяблика. Редкой птицей оборотился Аглаид. Чуть поменьше павлина. Хвостом много скромней. Зато клювом и когтями подобен хищникам горным, что витают в поисках добычи над стремниной. Взглядом порывист. К добыче жаден. Взмахнул крыльями тяжело во всю их ширь, перескочил на ограду террасы мраморной. Огляделся по сторонам. Вскрикнул задиристо и чёрной тенью метнулся в жидкое лунное небо.

Короток был полёт птицы Аглаида. Устремлённый к дому возлюбленной, примчался к нему скоро, кружил над ним с глухим шорохом широких крыльев, доколе, подглядев удобный выступ на черепичной крыше, не спустился плавно. Засылав из комнаты своей шорох крыльев да царапанье когтей по глиняной черепице, Иустина поспешно вышла к окну. И оборотила взгляд в высь, где уже оправлял перья, тряс облезлой башкой с круглыми пустыми глазами и жёлтым клювом юный Аглаид. Столкнулся он со взглядом девушки и будто споткнулся. Каркнул по-вороньи пронзительно, хрипло, перья его осыпались, когти оборотились пальцами. Синуло колдовство. Не в силах удержаться на покатою крыше, заскользил вниз, судорожно цепляясь, но уцепиться не в силах, покуда, наконец, не достиг слегка приподнятого откоса. Так он и завис в нескольких *оргиях*<sup>46</sup> от земли, правда, всего лишь на несколько минут, покуда не почувствовал, как некая зыбкая твердь вдруг обрелась под ногами, удерживая его и баюкая. И он опёрся о неё. Руки отпустил.

Обрётённое по чудодейственным молитвам Иустины, медленно сошло облако вниз и расплескалось о землю, оставляя юношу в новом недоумении: неужели слабая эта девица в силах развеять дьявольские чары, а молитва её может спасти?

С того самого дня что ни утро уже и сам Киприан, оборотясь прекрасной женщиной, или птицей райской, богато украшенной разноцветными перьями, или мудрым иноземным старцем, или эфиопом с драгоценными камнями в шкатулках, отправлялся к дому Иустины, но едва приближался к нему, едва касался потёртой бронзовой ручки калитки, лик его обманный волшебным же образом обращался в прах. Слоняющаяся в безделии детвора свистела вослед, улюлюкала озорно, а самые отчаянные из детей даже бросали вослед неудачливому чародею увесистые каменюги. В другой раз он превратил бы их в рептилий, в ораву болотных лягух оборотил. А тут даже хлёткие да крутоломные удары в спину и голову не останавливали его бег. Он бежал и бежал. И не мог сбежать от настигающего его разочарования и позора.

### **Кондак 7**

Хотя Человеколюбец Господь всем спаситися, дарова нам дивнаго молитвенника, заступника и целителя от духов злобы поднебесных, дела бо и словеса твоими приводил еси многих к покаянию и исправлению греховныя жизни, научая всех пети Богу: Аллилуиа.

### **Икос 7**

Новый мудрейший врач явился еси миру, священномучениче Киприане, понеже молитве твоей никакия чародейственныя дела противостати не могут, сейчас же разрушаются и прогоняются, от злых человек пущенныя и лукавых бесов. Мы же, видяще в тебе такуюю Божию силу, вопием ти сице: Радуйся, волшебных козней разрушителю; Радуйся, страшных бесов прогонителю. Радуйся, от тебе же духи злобы, яко дым, исчезают; Радуйся, тяжко мучимых скоро оставляющий. Радуйся, от бед и скорбей скоро избавляющий; Радуйся, страдания в радость обращающий. Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## **14. Москва. Март 1983 года**

Не проснулась русская весна. Ещё нежится в утробе матери-зимы. Утренниками робкими ноздреватый, жжёным сахаром подёрнутый снег сочится ручьями талой воды едва. Но днём солнышко красное пробивается сквозь серое лоскутьё туч ненадолго, однако и того довольно, чтобы и снег, и эти голые стволы берёз с тонкими, полощущимися на ветру берестовыми лоскутами, и крокодилова кожа старых тополей, и сам этот московский воздух напитались жизнью, предчувствием скорого тепла, сладостным и горьким дыханием пробуждающейся земли. Деловито вышагивают по крепкому насту вороны. Ищут веточки гибкие. Мох прошлогодний. Птичье перо. Пришла им пора вить новые гнёзда, а кому, может, и старые латать. Время и природа велят им продолжать вороний их век новым горластым потомством, что живёт рядом с человеком с незапамятных эпох, украшая жизнь нашу хотя бы и сварливым, порой даже склочным, но таким привычным всякому сердцу граем. Щеглы краснолицые снуют по подлеску. С ветки на ветку, пырхая крылышками, спешат. Щавель конский, лопухи да головки репья пощипаны ещё по зиме, но, может, где ещё и остались усохшие заросли сорняка, чтоб разжилаась птаха Божья хоть малым прокормом, понабралась силушки для будущих брачных утех. Люди добрые, кто по тёплому душевному складу, кто в целях воспитательных, дабы привить потомкам чувство сопричастности к живой природе, сыплют семечки в голубые пакеты из-под молока, хлебную крошку, просроченную, но для дикого населения городских парков вполне съедобную крупу. На редких проталинах — прозрачный лёд, под которым видна спутанная прошлогодняя трава, застывшие, как в стекле, мясистые



листья подорожника, шелуха шишек. Пройдёт неделя, и растает лёд. Выпростаёт земля-матушка неприбранное, заспанное своё лицо на краткий срок, чтобы затем уж расфуфыриться буйным цветом, иступлением весенним разыграть во всю свою неукротимую бабью силу.

Из окошка больничного, возле которого Сашка теперь проживает, пришествие весны чувствуется особенно. Во всю оконную ширь. Перестуком капли по цинковому отливу. Сочным сквознячком сквозь оконные щели. А коли ясно, то и солнечным припёком на макушку. Да вот только совсем не радостно капитану в этот весенний денёк. Муторно на душе. Горько. Больно нестерпимо.

Мученичество его началось в тот самый день, когда, очнувшись от наркоза, сперва увидел перед собой веснушчатое лицо ангела своего Серафимы, а ещё через пару часов, с помощью её приподнявшись, обнаружил отсутствие обеих ног. Вместо них — плотно укрытые гипсом обрубки. И рука — на перевязи. Рухнув на подушку казённую, затрясся. Поначалу молча. Затем с подвывом — нутряным, животным. Без слёз. Опытная в мужицких страданиях Серафима тут же вколола ему внутримышечно бромкамфоры и укрыла, словно мама, собственным телом. Так он и трясся у неё на плече, вдыхая запах дешёвых индийских духов, карболки и свежего девичьего тела. Именно эти запахи с тех самых пор, вместе и по отдельности, вызывали у него неодолимое чувство смятения.

Да ведь океан времени любую боль душевную, а физическую и подавно, заилит, песочком ласковым замоет. Глядишь, через неделю-другую душа человеческая даже с самой невероятной бедой начинает свыкаться. Через месяц так и вовсе забывать. А уж если к этому добавить транквилизаторов и, прежде всего, ежедневное молитвенное правило, то восприняет человек духом без всяческого сомнения и в самый короткий срок. Правил молитвенных Сашка не знал, но вот силы духа в нём, как оказалось, даже для такой невосполнимой потери предостаточно. Как и таблеток феназепам на складе баграмского медсанбата. Ну, и Серафима постаралась привести капитана в чувство. Делилась с Сашкой тайными девичьими легендами, в которых жёны и невесты ждут своих мужиков пусть даже и увечными, но живыми. Объясняла ему тайную бабскую психологию, согласно которой физическое увечье, особенно если то получено в результате боевых действий, не отвергает, а даже наоборот, вызывает в женской душе и сострадание, и уважение, и возрастающее чувство долга. Любят бабы вояк своих покалеченных пуще прежнего. Холят их да лелеют. Да ребятишек рожают. При одном, правда, условии, что любили их и до войны. Не оболочку одну, но первее всего душу их, нутро, мужицкое их естество. Взять хоть танкиста, что привезли в прошлом январе. Обгорел танкист до полной неузнаваемости. Местами так и вовсе поджарился. Думали, погибнет паренёк. Но вот ведь чудеса — сдюжил! Новой шкурой оброс, а там, где кожу пересадили, шрамами зарубцевался. Хотя всё одно страшен розовой плёнкой, лицом без бровей и ресниц. Шлёт через полгода после выписки письмо доктору из города Чебоксары. И фотокарточку, на которой герой танкист изображён в костюме гражданском рядышком с девушкой в свадебном платье. Пишет танкист, что ждала. И вот теперь свадьбу сыграли.

Или вспомнить того лейтенантика из разведки, угодившего под миномётный обстрел на подъезде к Рухе. Осколками посекло паренька нещадно. А с эвакуацией подзадержались. Малограмотный санинструктор перетянул жгутами ноги и руки крепче требуемого и не в тех местах. Словом, в медсанбате только и оставалось, что ампутировать парню обе ноги да обе руки по локотки. Подлечили, как могли, нафаршировали морфием, феназепамом и прочей химией, что превращает человеческий рассудок в жидкий кисель, и отправили, что осталось, в Пензу. Глядь, не прошло и двух месяцев, знакомая медсестра рассказывает: жена лейтенанта сразу же выправила тому какие-то экспериментальные протезы для рук и для ног. Так что железный её человек теперь и ходит, и колобродит, и даже учится водить автомобиль. Семья, видать, богатая не только деньгами.

— А уж тебе-то, соколик, и вовсе грех горевать, — увещевала Сашку Серафима. — Жены нет. Невестой не обзавёлся. Ножки отчекрыжили, как родному. Слава Богу, руку от ампутации спасли. Поставят протезы, никто и не догадается, что инвалид! Радоваться надо, а не стонать!

Ангельские её наставления, транквилизаторов ежедневная горсть, но и, безусловно, мужество Сашкино уже через неделю принесли ожидаемый результат: капитан успокоился, взглядом повеселел, кашу рисовую рубал за обе щеки и даже несколько раз здоровой рукой приобнял подагливую Серафиму. А ещё через неделю приснился капитану вещей сон.

Снился ему учебный аэродром в Шадринске. Мокрая до сального блеска взлётно-посадочная полоса, по которой подруливает к нему допотопный, военной сборки боевой истребитель “Як-1”. Фанерный гаргрот за фонарём. Дюралевые элероны. Стойки шасси навытяжку. Вёсла трёхлопастного винта ещё мельтешат, притормаживая, разворачивая машину боком, звёздами алыми на крыльях, фюзеляже и хвосте. Наконец замирают. Сдвигается фонарь. Незнакомый лётчик в шлеме. В крагах. В коричневой куртке на цигейке. Лезет из кабины. Кряхтит. И неожиданно выбрасывает на фюзеляж обрубки ног в грубой кожаной упаковке. Улыбается лётчик Сашке. Машет рукой. “Подсобил бы, сынок, — кричит ему, стараясь перекричать грохот засыпающего движка, — видишь, мне не сойти!” И уже скатывается по фюзеляжу на крыло. А с крыла — в объятия Сашки. Лётчик тяжёлый. Воняет прелой кожей. Влажной овчиной. Мужским потом. Но глаза — развесёлые, озорные. “Видал, как приходится воевать, — смеётся лётчик, очутившись на мокром бетоне ВПП. — Зато ногам не зябко!” Тут Сашка понимает, что и он одного с лётчиком роста, а стало быть, и у самого нет ног. Но совсем не печалится. Наоборот. Радуетя сердечно, что повстречал этого человека. И, кажется, его узнает. “Вы Маресьев?” — спрашивает он лётчика. “Так точно, — козыряет лётчик и протягивает ему крепкую руку: — Алексей. Шестидесят третий гвардейский истребительный авиационный полк”. Смотрит на Сашку пристально. И вновь расплывается в улыбке. “А я погляжу, ты тоже — ас! Ну так летай, воробушек. Главное, сам знаешь, крылья. А вместо сердца — пламенный мотор, как в песне поётся. Чего вылупился?! Полезай в кабину. И войю. Дарю!” И похлопал рукой по мокрому дюралевому элерону. “Спасибо, Алексей Петрович, спасибо, товарищ полковник”, — пролепетал Сашка, забираясь сперва на крыло, а затем и в кабину истребителя. Горячий движок запустился с пол-оборота. Щёлкнул замок плексигласового фонаря над головой. Не помня себя от радости, Сашка вырулил самолёт на взлётную полосу, разогнал обороты и рванул вперёд, вцепившись обеими руками в рычаг управления и выжимая его на себя. Каждой клеточкой тела чувствовал он теперь малейшую выбоину под шасси, каждую трещину на взлётной полосе, каждую лужу, что обдавала фонтаном водяной пыли мчащийся истребитель. И вот оторвался. Взмыл в небо — дождём морозящее, близкое низкими кудлатыми тучами, но такое родненькое, такое желанное, что Сашка давил и давил рычаг газа, пока не прорвался сквозь грозовую хмарь, не вырвался в чистую лазурь бескрайнего неба. Солнце слепило весело. “Я могу, — вторил Сашка, беспрерывно, словно Иисусову молитву, — я могу, я могу!”

Совсем скоро он и взаправду летел. На носилках брезентовых в компании таких же войной покорёженных людей во чреве “антошки”, уносившего их сперва в Ташкент, а оттуда на подмосковный аэродром Чкаловский. И именно тогда, во время перелёта, заныла впервые раненая его рука. Зарождение боли ощутилось едва заметным покалыванием в пальцах. Да мало ли что бывает? Может, отлежал, покуда беседовал да смолил горький табак с наводчиком-узбеком. Но и после Ташкента, где узбека встречала целая депутация родственников из Намангана, и тот даже приглашал Сашку пожить у них хотя бы недельку на плове и шашлыках, заунывное колодьё не исчезло. А на подлёте к Москве раздирало руку невыносимо. Казалось Сашке, что по нечаянности вытащил из костра раскалённый булыжник и теперь держит его в раненой руке, ощущая, как прикипает к камню плоть. Дежурный медик пустил по вене какую-то муру из капельницы, всадил внутримы-

печно несколько кубиков промедола. Полегчало. Только ощущение, что раскалённый булыжник скоро вновь прилетит в его руку, не исчезло. И даже косяк чарса, каким угостил другой его попутчик, спецназовец с беспрестанно блуждающим взглядом, не смогли от ощущения этого поганого избавить. Боль вернулась уже в Москве.

Местный эскулап — в майорских погонах и со странным для советской воинской службы именем Лель Вальтерович — долго изучал его свежие культы с крупными рубцами швов, колол иглой кончики пальцев руки, заставлял сгибать и разгибать в локте, смотрел язык и глаза. Потом обмотал Сашкину кисть тряпицей влажной. И боль вдруг улеглась. Угас огонь. Тогда-то и произнёс впервые майор заковыристое словечко “каузалгия”.

Хорошо хоть соседом по койке оказался весёлый лейтенант Верунчик, благодаря которому вся их палата в восемь бойцов то и дело подыхала от хохота. Верунчиком его прозвали ещё на войне, поскольку то и дело поминал лейтенант неведомую девушку с этим именем. “Верунчик не одобрит”, — говорил лейтенант; “Верунчику понравится”, “Верунчик пошлёт”. Кем была ему эта девушка и была ли она вообще, никто из сослуживцев Верунчика не знал и фотографии её никогда не видел. Но лейтенант поминал её при каждом удобном случае. И, видно, не первый год.

Отличился он в рядах ограниченного контингента тем редкостным обстоятельством, что умудрился дослужиться до капитана, а затем был вновь разжалован до лейтенантского звания за свои проделки и чудачества. Держали его на высокогорном посту боевого охранения в Панджшере, куда начальство добиралось крайне редко, отчего царила здесь откровенная партизанщина с изготовлением собственной браги, дисциплинарной вольницей и иными формами неуставных отношений. Закопёрщик всего этого безобразия то устраивает в гарнизоне зимние олимпийские игры, самолично возглавив спуск с горы по зазимку в цинковом тазу, то приведёт в негодность назойливый вражеский миномёт, тайно набив в ствол несколько килограммов неправовверного солдатского говна, а то и вовсе предстанет перед начальством в образе эдакого махновца времён гражданской войны: в шлёпках на босу ногу, в шортах, отчекрыженных из камуфляжа, в солнцезащитных пластиковых очках с трофейным “буром” за спиной и пакистанской бейсболкой на кумполе. Начальство морщилось. Закатывало Верунчику наряды, а несколько раз и губу, однако дальше забытого войной высокогорного блокпоста сослать было невозможно. А тот посмеивался в пшеничный ус да в какой раз поминал Верунчика, которая, видать, та ещё была оторва, поскольку кавалера своего на все эти чудачества вдохновляла незримо. Так бы и колобродил лейтенант на забытом Богом блокпосту, если бы во время какой уж там по счёту, четвёртой ли, пятой Панджшерской операции попёрли через него правовверные валом. Да с таким напором, с огневой такой мощью, что, как говорится, ни вздохнуть, ни пёрднуть. В том бою рота Верунчика потеряла шесть человек убитыми, шестнадцать ранеными, из которых четверо — совсем тяжело. Но и врага громили лихо, с одной стороны, из-за явного тактического превосходства, а с другой — из партизанской отваги и сумасбродства, что сдружили солдат, крепко спаяли взаимовыручкой, как ни удивительно, практически до родственного состояния. Может, оттого и сражались пацаны, прикрывали друг друга в кровавом этом бою отчаянно. Самого Верунчика прикрыл телом своим извительный чечен Муса. Нудный он был человек. Всякий день изводил командира рапортами насчёт бани, жратвы, почты. А тут взял и закрыл его от осколков 120-миллиметровой мины. Верунчику всего-то кисть оторвало. Да пузо с ляжкой малость посекло. А вот Мусе осколок прямо между глаз засвистел. Погиб извительный чечен без мучений и упрёков в одночасье.

Отбили “духов” славные эскадрильи 338-го отдельного вертолётного полка, а потом они же и раненых с мёртвыми вывозили. Верунчик истекал кровью на одном борту с Мусой. Лица того было не узнать. И только обручальное кольцо на безымянном пальце свидетельствовало о том горе, что совсем скоро ворвётся в богатый дом из красного кирпича на окраине Шали. И разрушит его жизнь без остатка. Рядом лежали другие ребята — мёртвые

и живые. Это был единственный день в жизни Верунчика, когда ему хотелось молчать. И не поминать имя любимой.

Теперь, в московском госпитале, Верунчик вновь фонтанировал идиотскими замыслами и шутками озорными. Вместо пластикового протеза оторванной кисти, о которой он, между прочим, любил затушить окурок под ошалелые возгласы незнакомых дам, стоворился со слесарем соседнего оборонного завода выточить ему на станке с ЧПУ железную руку с крюком, как в книжке про капитана Хука. Надевал её не всегда, лишь по большим советским праздникам. В дополнение к форме лейтенантской. Уходил, разумеется, и в самоволку, где по тайным адресам в окрестных “хрущобах” ожидали его ненасытные лимитчицы, студентки, а то и вдовушки нынешней войны, жалевшие весёлого офицера не по одному разу, да всю ночь, да от всей своей бабьей души. На правах ходячего пациента, в облачении гражданском, с помощью подкормленных охранников и дыры в железобетонном заборе лейтенант то и дело мотался в гастроном, откуда доставлял бойцам и тем, от кого оказались они хоть и временно, да крепко зависимы — сестричкам, вертухаям на проходной — всяческий провиант. Времена советской торговли, конечно, не отличались особым ассортиментом, однако ж колбасу ещё готовили из мяса, сыр — из молока, а конфеты — из шоколада. Да и водку с вишнишком Горбатый пока что не запретил.

Лошадиное ржание Верунчика. Густой перегар из лыбящейся его пасти. Мат-перемат. Песни про кукушку и лазурит. Сашка жил теперь со всем этим на расстоянии вытянутой руки, каковая у него только и осталась, поскольку вторая, будто распухшая, едва живая рыба покоилась на дне казённого эмалированного таза с холодной водой.

Каждый звук, всякое движение и даже робкий солнечный луч причиняли ему нестерпимую боль, что сродни самым настоящим адским страданиям. Укутавшись с головой в жёлтую, худо постиранную простыню, в шерсть казённого одеяла, чтоб не видеть, не слышать взбесившейся светом и звуками весны, лежал он с выпростанной рукой, с культями, поджатыми к животу, страшным человеческим эмбрионом, измученным и изувеченным подобием человека, пародией на творение Божие. Хоронился так до глубокой ночи. И лишь тогда, когда выздоравливающие бойцы заходились неистовым храпом, когда весь свет — ночник пожарного выхода и лампочка на столе дежурной сестрички, — выползал из своей берлоги. Жрал худо-бедно остывшую больничную баланду, подёрнутую плёнкой застывшего маргарина, ссал в эмалированную утку, жёг в глубокую затыжку кряду несколько сигарет, засыпал в пасть полную жменю таблеток.

Морфий заглушал боль лишь на время. Сашка полюбил морфий. Ждал его, как избавления. Как любящую мать или вожделенную женщину. Лель Вальтерович, слава Богу, страсть его эту вовремя приметил. Начал прописывать паренную дозу полегче, препараты помягче, принял новоканом боль несусветную усмирять, прикидывая тем временем, что без симпатэктомии в этом деле никак не обойтись. Видать, перетянули капитану нервные окончания ещё в медсанбате крепче требуемого, или рубец давит, а может, и отпрыск лучшего портного Нахичевани сплюховал, кто ж теперь разберёт?

Симпатэктомия — операция достаточно кропотливая, поскольку вторгается в область симпатического нервного ствола и, по сути, на веки вечные прерывает связь человеческого мозга с источником его боли, отсекая скальпелем ответственные за связь эту нервы. Ну, а чтоб в глубины боли человеческой добраться, придётся сечь и большую грудную, и межрёберные мышцы, сами рёбра пилить, открывать лёгкое, сдвигать его и ствол этот симпатический выпрастывать. И вновь рассекать.

Назначили день и час. Лёжа под одеялом, Сашка улыбался осторожно, с некоторым даже смирением, ожидая скорого избавления от боли, пусть и ценой иссечения симпатического ствола, нескольких часов наркоза, хирургического внедрения в своё и без того истерзанное тело.

Беда, впрочем, как известно, в одиночку-то не гуляет. И уж коли вцепилась клыками своими, скоро не отцепится. Так и с Сашкой случилось. Несколько часов корпели над телом его двое военных хирургов. Резали. Пилили.

Рассекали. Да наткнулись на срастание лёгкого с задней стенкой, что образовалось, скорее всего, от перенесённой ещё в училище пневмонии, многолетнего пристрастия к крепкому табаку. Отсекли, но задели, видать, крупный сосуд. Хлынула кровь. Следом — пневмоторакс. Пришлось ушивать соуды. Ставить торакальный дренаж. И назначать новую операцию.

Очнувшееся после наркоза затуманенное сознание капитана испытало новую боль в довесок к прежней. Несказанное уныние. И ощущение пустоты. Будто выпотрошили его, как дохлую рыбу.

Новую операцию те же самые доблестные хирурги сделали через две недели. Вновь кромсали, пилили, иссекали и шили. На сей раз без осложнений и сюрпризов. Всё, как написано в классическом учебнике по нейрохирургии Иосифа Иргера.

Очнулся Сашка от свежего ветерка, горько пахнущего клейким соком тополиной почки. Очнулся и не почувствовал боли. Совсем никакой. Лежал и глотал со слезами вместе терпкий этот ветер. И казалось ему — это рай, куда попасть можно, непременно пройдя через ад. А дальше — и идти некуда. Дальше — только вселенское счастье. И нега вечной весны. И вечной любви — счастье. Обернувшись к окну, сквозь переплетения трубок и проводов, по которым в тело его поступали химические соки и соединения, считывался пульс, сердечный бег и давление ртутного столба, увидел он краешек небесной лазури да липкий блеск изумрудных побегов старого тополя. И осклабился запёкшимся ртом.

С волшебного того дня наступила эпоха Сашкиного возрождения. И рубал теперь за двоих — жирком по бокам аж оброс, округлился физиономией. С радостью выставлял санитаркам культы для лимфодренажа, для тугой перевязки, ожидая со дня на день, когда доставят ему с протезной фабрики новые конечности. Над хохмами соседа своего Верунчика потешался от души, а бывало, и затмевал того собственным творчеством, особенно когда пацаны добыли ему гитару.

Ветеранский этот инструмент изготовлен был, судя по видной через голосник жухлой этикетке на нижней деке, на Бобровской гитарной фабрике, что в Воронежской области, в год начала Афганской кампании. Крашеная фройляйн с потёртой наклейки, выжженный “узором” знак ВДВ, процарапанные гвоздём по лаку номера воинских частей, соединений и госпиталей, имена бойцов и их возлюбленных свидетельствовали, что гитара эта проделала большой боевой путь от Лейпцига до Кундуза, от Термеза до Кандагара, покуда, поменяв не один десяток струн и почти все колки, не добралась до столицы СССР.

Музыкальным образованием сына по первости озаботилась, как водится, мама, мечтающая, что из Сашки со временем может произрасти какой-нибудь Ван Клиберн или Святослав Рихтер. Только вот среди советских пацанов того времени популярны были не еврейские и немецкие пианисты, а прославленная ливерпульская четвёрка. Под них стриглись горшком, заказывали в ателье костюмы с расклепёнными портками да учились брэнчать на гитаре. Так что, когда встал вопрос, на какое отделение отправить десятилетнего отпрыска в музыкальную школу, тот категорически заявил: исключительно на гитару. Месяц почти учился Сашка правильно садиться. Ставить руку на деку. Пальцы держать. Перебирать пальцами по струнам. Ноты читать. Начал разучивать первые композиции: “Три весёлых гуся”, “Как под горкой”, “Ах, ты, зимушка-зима”. Обучал его игре старый цыган Богдан Семёнович Штепо. Требовал играть хотя бы по два часа ежедневно. Растить мозоли на пальцах левой руки, что прижимали струны к чёрному грифу. Вновь и вновь заставлял Сашку повторять “Весёлых гусей”. Но вот с сольфеджио вышла незадача. Мудрёная эта наука, состоящая из бесконечных тренировок слуха, памяти, пения, да ещё в компании кисейных барышень, которые голосили куда как ладнее, прилежнее, звонче, никак не давалась Сашке. Блеял на задней парте. Пыхтел ежом. Багровел, когда вызывали его к инструменту петь диктант в одиночку. Зарабатывал вполне заслуженные “неуды”. И в довершение ко всему захворал ангиной. Голосить не мог. Струны тереть изленился. Так и забросил в результате всю эту музыку.

В училище, когда пристала пора самоутверждаться да девок кадрить, вновь вспомнил про “струмент”. Изучил четыре блатных аккорда, тексты популярных тогдашних шлягеров про “электричку” и “неумирающую любовь”, что и позволило в одночасье заделаться, как говорится, душою курсантских компаний. Голос у него к тому времени сделался ладный, баритонистый, с едва заметной прокуренной хрипотцой. Девки млели. Парни уважали.

На войне тоже баловался гитарными переборами. Вдохновился кирсановским и морозовским фольклором<sup>47</sup>. Схоронясь в кантёрке, на борту “крокодила”, а то и в сухом арыке, принялся и сам сочинять. Сочинительство-то штука незатратная. Клок бумаги с грифельным карандашом — вот и всё, что требуется для него, помимо таланта и настроения.

Песни эти, по преимуществу, конечно, собственного изготовления, голосил теперь Саня в госпитальной палате скорбным напоминанием о героическом прошлом и безнадёжном будущем, в котором ожидает почти каждого из них народное, но пуце государственное забвение, насмешки современников, тлен.

Исковерканные войной бойцы воротили морды, наливались кровью. Украдкой глотали слёзы. Казалось им: вот тот самый голос, что наконец-то вещает о них самое верное слово. Коренную их правду, какую обычным словом не выразить, но только вот так: пронзительно, до дрожи в груди.

А скоро и протезы подоспели. Странное это сооружение из железных трубок, кожаной манжеты, невидимых механизмов, шарниров, гаек и шин, упрятанных под пластиковую кожу, должно будет заменить Сашке потерянные на войне ноги. И не просто заменить. Врости в его плоть. В сознание его. Во всю последующую жизнь, превратившись хоть и в стальной, но все же совершенно родной агрегат.

Одышливый, тучный протезист тщательно и жёстко крепил забинтованную, хлопковым чулком обёрнутую культю в опорный стакан. Рассказывал размеренно, с подробностями о том, как эту процедуру проделывать Сашке самостоятельно, чего не забыть, что учесть, если прицепляешь агрегат летом, а что — зимой. Предупреждал, разумеется, что выучиться ходить на железных ногах непросто, потребуются много сил, сноровки, терпения, чтобы естественным этим для каждого человека навыком сызнова овладеть. Тут и сковырнёшься не по одному разу, шишек набьёшь да синяков. И проклянёшь себя, беспомощного калеку, не по одному разу. И к Богу возопиешь. Всякое будет на долгом этом пути, насторожил протезист, но ты парень молодой, жилистый, крепкий. Со временем новой для тебя наукой овладеешь. Не ты первый, не ты и последний. Таких безногих по всей земле миллионы.

Ухватившись одной рукой за толстую шею одышливого протезиста, а другой за худенькую — Леля Вальтеровича, приподнялся впервые, ощутив культями нечто чужое, телу инородное, даже не представляя себе, как этим всем управлять и просто сохранять равновесие. Покачнулся. Но устоял.

За окошком в золотистом мареве чистого весеннего утра заливались самозабвенно дрозды. Сладкий сок с берёз сочился капелью. Сорные, тёмные сугробины громоздились лишь по овражкам, в тени больничной подстанции, с каждым часом высвобождая всё больше талой земли, укрытой прошлогодней вялой листвой, перегноем, яркими желтками мать-и-мачехи.

Впервые за долгие месяцы безножия Сашка видел мир с прежней своей высоты. И удивлялся этому миру, как если бы он только сейчас родился и видел его впервые. От этого ли позабытого чувства, от того ли, что кровь нахлынула в башку, пошла она кругом. Приземлился Сашка на больничную койку куклой тряпичной — без всяческих сил и желаний.

С того самого напоенного солнцем дня и началось для него то, что толковать можно по-разному: восхождение ль на Голгофу, вращение ль в сталь, но, прежде всего, натужное ежечасное труженичество.

Обучившись поначалу всего-то стоять, начал Сашка битой уткой, вразвалку вышагивать сперва по несколько метров от окошка и до двери палаты, а через неделю и по больничному коридору, чью длину в шестьдесят восемь метров он мерил не то что ногами — собственным мясом. Как бы ни уберегал, как бы ни увлажнял он культы глицерином, все одно — прели, воняли, кровили. Бывало, так нагуляешься — в стакане опорном, что в болоте,

чавкает. Отстегнёшь ноги. Зелённой кожу разукрасишь. Обождёшь, покуда подсохнет. И снова в поход. Кожа на культях со временем обросла толстой мозолью. Свыклась с подпоркой. Можно даже сказать, сроднилась, напитав кожаный стакан человечьей кровушкой. Да на беду в это самое время от долгих ли походов, теперь уже и по весеннему лесу, а может, и от слабости конструкции протез его сломался.

Произошло это в том самом весеннем лесу, когда стоял Сашка под берёзой с высунутым языком, стараясь уловить им сладкие капли сока, сочившегося с голой кроны. Да не учуял, видать, в весеннем приливе тестостерона предательского бугорка под железной ногой. Подвернулся протез. Скрежетнул обречённо, надрывно стальной своей сердцевинной, стёртым шарниром, шайбой какой дефектной. Рухнул Сашка наземь подкошенно. Неуклюже. Мордой прямехонько в жидкое месиво из талой воды, трухи еловой, прелой прошлогодней листвы. Перевернулся кое-как навзничь. Попытался подняться, но правый протез не слушает. Скрежещет сталью. Виснет разбито. Вот ведь незадача! Боевой офицер. Герой. Битым подранком в луже трепещет. Только что не пищит. На удачу берёзовый дрын поблизости сыскался. Дотянулся. Опёрся об него, как о костыль. Только так и поднялся. Весь в соре лесном. Мокрый. Потный. Несказанно счастливый, что послал ему Господь этот дрын, что не придётся ползти по весеннему лесу до самого КПП. Доковылял, волоча за собой скрежещущий агрегат. И ждал ещё томительно целых пятнадцать дней, пока изготовят новый.

Новый был крепче прежнего. С титановой конструкцией изнутри. С усиленными немецкими шарнирами. Закалёнными шайбами и шурупами. Однако и их измотал Сашка за полгода. Но это уже в академии.

*(Окончание следует)*

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> “Метаморфозы” — эпическая поэма Публия Овидия Назона, написанная между 2–8 гг. н. э.

<sup>2</sup> Адитон — особая священная комната в древнегреческих и римских храмах.

<sup>3</sup> Трабея — тога, украшенная пурпурными горизонтальными полосами.

<sup>4</sup> Таргелион — весенний месяц, примерно соответствующий упомянутому ранее месяцу даисиосу, но не в македонском, а в аттическом календаре. 6–7 таргелиона совершался праздник Таргелии в честь Аполлона и Артемиды.

<sup>5</sup> От *salsei* (лат.) — закрытая обувь, род башмака из тонкой кожи разнообразных цветов.

<sup>6</sup> Иеропей — жрец, наблюдавший за тем, чтобы животные, приносимые в жертву, не имели изъянов.

<sup>7</sup> Слушать всем!.. Сохранять молчание! (лат.)

<sup>8</sup> Освящено... Могу начать?.. Да! (лат.)

<sup>9</sup> ЗАС — засекречивающая аппаратура связи.

<sup>10</sup> Отдел стран Среднего Востока МИД СССР.

<sup>11</sup> РД-54 — рюкзак десантника.

<sup>12</sup> АКС — автомат Калашникова складной.

<sup>13</sup> РПГ — ручной противотанковый гранатомёт.

<sup>14</sup> ДШК — крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва — Шпагина.

<sup>15</sup> “Иволга” — воздушный командный пункт Ми-9 (Ми-8ИВ).

<sup>16</sup> Я смотрю на закат,  
И на сердце тоска,  
И рыдает душа, рвясь на волю.  
Наяву, как во сне,  
Кольца дыма в листве,  
Голоса и глаза с давней болью.  
О, как это странно.  
В самом деле странно.

*(Перевод с англ. Владимира Бойко.)*

- <sup>17</sup> РГ-42 – ручная наступательная граната.
- <sup>18</sup> РПК – ручной пулемёт Калашникова.
- <sup>19</sup> “Окаб” – позывной аэродрома Баграм.
- <sup>20</sup> Кяриз – традиционная подземная гидротехническая система в городах и селениях Афганистана.
- <sup>21</sup> Читральский паколь – традиционный головной убор пуштунов.
- <sup>22</sup> Гарпии – женщины-птицы; ликантропы – люди-волки, оборотни.
- <sup>23</sup> Псалом 117, 1-15.
- <sup>24</sup> Псалом 117:16-29.
- <sup>25</sup> Плефр – византийская мера длины от 29,81 метра до 35,77 метра. Так называемый “греческий плефр” составлял 30,65 метра.
- <sup>26</sup> Восстановитель свободы (лат.).
- <sup>27</sup> Прогнавши ночь, восходит нерешительно  
Титан в сиянье, мутной омрачённом мглой;  
Губительный огонь лучи унылые  
Льёт на дома, чумой опустошённые,  
И день являет жатву ночи смертную.  
Кто царской власти рад? О благо лживое,  
Как много зла таит твой лик приманчивый!  
Всегда под ветром горы поднебесные,  
Всегда утёсы, море разделившие,  
Валов удары терпят и в безбурный день, –  
Так пред фортуной власть царей беспомощна.  
Сенека. “Эдип”. (Перевод с лат. С. А. Ошерова.)
- <sup>28</sup> Два братских стоят отряда в полях,  
Грозные всходы семян достойны,  
Одним лишь днём измерен их век,  
Родились они, чуть денница взошла,  
И все падут до вечерней звезды.  
Сенека. “Эдип”. (Перевод с лат. С. А. Ошерова.)
- <sup>29</sup> ГБУ – Группа боевого управления.
- <sup>30</sup> “Батрахомиомахия” – написанная гекзаметром древнегреческая пародийная поэма о войне мышей и лягушек.
- <sup>31</sup> Уроборос – свернувшийся в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост.
- <sup>32</sup> Кишмишевка – местная афганская водка, которую гнали и продавали специально для ОКСВА.
- <sup>33</sup> ПМ – пистолет системы Макарова.
- <sup>34</sup> Договорная зона – территория, которая после зачистки от душманов передаётся под контроль старейшин.
- <sup>35</sup> Штурмовик СУ-25.
- <sup>36</sup> Вид античного торгового судна.
- <sup>37</sup> Пандура – маленькая лютня, сходная с мандолиной или гитарой.
- <sup>38</sup> Нерождённого, неизреченного, неизменного... извечного. Доказательства трансценденции Бога в апологиях Иустина Философа.
- <sup>39</sup> От лат. *Nexarīa* – Ушестерённая [Библия] – синоптический свод текстов Ветхого завета, составленный Оригеном примерно к 245 году; первый в истории образец библейской критики.
- <sup>40</sup> “Верую, потому что абсурдно”... “Душа по природе своей христианка”... “Ты – врата дьявола” (лат.).
- <sup>41</sup> Имя епископа “Анфим”, упоминающееся в житийной литературе о Киприане и Иустине, не встречается в документальных списках антиохийских архиереев.
- <sup>42</sup> Гал. 3: 24-28.
- <sup>43</sup> Агапа (др.-греч.) – вечернее или ночное собрание христиан для молитвы, причащения и вкушения пищи с воспоминанием Иисуса Христа.
- <sup>44</sup> Мф. 26: 26-28.
- <sup>45</sup> Демотическое письмо – одна из форм египетского письма, применявшихся для записи текстов на поздних стадиях развития египетского языка.
- <sup>46</sup> Оргия (др.-греч. *οργια*) – единица измерения длины в Древнем Египте и Древней Греции, равная 1,851 м.
- <sup>47</sup> Ю. И. Кирсанов, И. Н. Морозов – офицеры отряда особого назначения КГБ “Каскад”, родоначальники “афганского” направления в армейской песне.